Алесь Адамович

Последняя пастораль

«Последняя пастораль» — художественная попытка представить жизнь на Земле после атомной войны.

1

Калісь глядзеў на сонца я, Мне сонца асляпіла вочы.

Максім Багдановіч, «Трыялет».[1]

– Боевая тревога! Ракетная атака! В залп набрать первую... Вторую... Третью... Повторяю: ракетная атака!.. Первую... Вторую... Третью приготовить к пуску! Почему нет доклада? Не слышу доклада! Мы еще живы, живы! Повторяю: приготовить к пуску... Первую... Вторую... Третью! Почему никто не отвечает? Никто не отвечает... Почему?

Маленькое нежно-голубенькое тело канарейки мертво лежит в косо повисшей клетке, большие и темные человеческие с удушенно синими лицами и вытянутыми шеями обмякли в креслах у пультов, чернели и грудились у стенки возле змеящихся труб.

И только голос все убеждает:

– Мы живы, мы еще живы!..

На белой полоске, нашитой поверх черной хлопчатобумажной ткани (а возможно, темно-синей, полумрак все смазывает), написано: «Командир». Тускло светятся лампочки подсветки, на табло появляется, но тут же исчезает игрушечный силуэтик ракеты – человек снова и снова пытается вызвать, удержать...

– Набрать первую... первую...

Видеокамеры, установленные в главных жизнепитающих пунктах подводного корабля, передают лишь мутный полумрак и какое-то в нем шевеление...

– Ме-едленно! Ме-едленно двигаетесь! Что вы ползаете, как черви?.. Повторяю: включить регенерацию воздуха центрального поста. Почему не...

Человек неуверенно протянул руку к столику, где белеет раскрытый журнал с привязанной на шнурочке шариковой ручкой, но тут же вяло откинулся на овальную спинку кресла, оно крутанулось – теперь его гаснущий, искаженный мукой взор с неестественной пристальностью устремлен на лицо женщины. Знакомо наклонив набок детскую головку, чтобы совладать на ветру с медовой тяжестью волос, она смотрит из утренней морской свежести

---

[1] На солнце загляделся я,
И солнце очи ослепило.
Максим Богданович, «Триолет».

спокойно и безмятежно, согласная лишь на счастье и блаженство во всем и везде, на нежную ласку и вечную красоту встречающего ее рождение мира...

2

Выйшлі з ёй, дзе сенажатная краса
Зіхацела, як вясёлкі многацветны ўзор,
Вострая яшчэ не забразгала каса,
Дзе ў кветках луг ірдзеў, як неба ў ноч ад зор,

Янка Купала, «Яна і я».[2]

Коса протестующе звенит, как от удара по проволоке, сухо, скрежещуще, внутри все сжимается, невольно сдерживаешь руку, хотя знаешь, что не по железу, по стеблю растения бьешь. Стебли проволочно тонкие, а сами цветы рыхлые и огромные, похожие на желтые грибы. Мокро и тяжело плюхаются на землю, безнадежно сухую, каменистую, откуда только и влагу набирают, напитываются? Видимо, ночную, пока мы спим. А сейчас, под первыми лучами солнца, им уже душно. Возьмешь в руку шляпку цветка-гриба, сожмешь – клейкое, липкое, белое польется по пальцам. И теплое, как живое из живого тела.

Выкошу, и до самого вечера будет чисто, голо, одна стерня, как металлическая щетка, но к утру снова – желтый плотный ковер из цветов. И я снова воюю с ними: ссекаю, волоку, толкаю ногами, сгребаю к ущелью и спихиваю вниз. Коса у меня индусская – это скорее серп на длинной насадке, рукоятке, и нужен не взмах, не разворот плеча, как при обычной косьбе, а вращательное движение от локтя. По этому принципу работал комбайн...

Нет, не цветы это. Она первая обнаружила. Когда побежала к ним в неожиданно расцветшие утренние луга-травы, но поскользнулась на желтой слизи, поднялась и обиженно повернулась в мою сторону: что это? за что?! Теперь Она боится приближаться к

---

[2] Вышли мы на луг, где холодит роса,
Где по ногам стегает нас травы нахлест –
Острая еще здесь не прошлась коса,
Еще цветов кругом, как ночью в небе звезд.
Янка Купала, «Она и я».
Перевод с белорусского здесь и дальше Н.Кислика.

цветам, уверяя, что несет от них падалью. Тошнит Ее, всю выворачивает. Но это уже Ее фантазии. Никакого такого запаха, разве что сырость грибная.

Я тоже знаю: это не цветы! Большущие сырые драконьи головы гневно вздрагивают под моими ударами, а наступишь – свирчат, попискивают. Напитавшиеся сыростью огромные скользкие грибы, маскирующиеся под цветы. А что маскируется под грибы – это еще надо понять.

У многоплеменных индусов была легенда о драконе, с которым не совладать, а лучше и не пытаться: из каждой капли его крови, упавшей на землю, рождается еще один такой же многоглавый... Может, и с цветами то же самое получается: ссекая, я тем самым сею, размножаю эту пакость?

Уродливо пышные и яркие, внешне похожие на эти, делали и продавали когда-то возле городских кладбищ – поролоновые, закрепленные на проволоке Если глянуть на наш остров со скалы – огромная желтая клумба. А в сторонке, где наша семейная пещера,– прижавшиеся друг к дружке березки. Там сейчас спит Она. Под утро Ей спится, как в детстве. Стараюсь закончить работу, выкосить и убрать цветы хотя бы вблизи нашего жилья, пока Она не проснулась! Проснется и, даст бог, не сразу вспомнит, что они здесь, поджидают Ее. Радостная утренняя улыбка, которую я особенно люблю, дольше продержится на заспанном теплом лице, на теплых, влажных губах...

В сознании, памяти цветы эти соседствуют с крысами, от которых прежде спасу не было. Двух-, трехглавые, короткохвостые, огромные, как бобры: смотрят, уставившись на тебя не двумя глазами-стекляшками, а четырьми, шестью, внимательно, неотступно. Убегали неохотно, раньше камнями нашвыряешься: пошла! пошли! Но в одну ночь все переменилось, монстры-крысы исчезли, как и не было. Открыли мы глаза, выглянули из нашей пещеры – остров будто повис в воздухе, излучая желтое сияние. О, как Она обрадовалась, как побежала в ликующий этот цветник!...

Наши стройные березки, под которыми мы готовим себе обед, где и сейчас вьется легкий дымок, семена свои разбрасывают опасливо: кое-где проросли молодые зеленые ростки, тянутся из каменных расщелин, но желтые монстры-цветы тут как тут, прямо-таки наваливаются на них, теснят, душат. Каждое утро я освобождаю из-под тяжелой массы цветов нежные березовые побеги.

Но как они появились на этом экваториальном островке, северные березки, какими судьбами? Да что какими: где зима, где лето, где север, где юг – все по-сумасшедшему перемешалось. Хорошо,

что еще не на леднике сидим!

Нам бы вспомнить до конца, откуда и кто мы, ну вот хотя бы Она. Каждое утро Она просыпается немножко другой, даже на другом языке меня приветствует. Нечто вроде игры это у нас.

– O, my dear[3].

Ясно, сегодня мы – англичанка. А если угодно, то и американка, на выбор.

– Работничек мой, уже не спишь!

Все понятно, мы – русские.

– Коханы мой! – с польским или белорусским акцентом.

– Caro, carissimo![4]

Ну ясно, мы – итальянцы.

Но вдруг – по-японски или на хинди заговорит, не открывая глаз, руками потянувшись к свету.

– Oh, mon amour!

Ну совсем парижаночка, встречайте, принимайте нас, таких хороших, таких после сна по-крабьи медлительных. И столько у нас этих коленок и локотков острых, и так они уютно все складываются, укладываются, если нас хорошенько, от души обнять и целовать, целовать сонный рот... А промедлишь, отпустишь – из него вдруг, как из туристско-солдатско-шпионского разговорника, посыплется:

– Can you show me the way to the road? I'll pay for it[5].

– Je voudrais acheter un souvenir[6].

– Hände hoch! Ręce do gory! I'll fire![7]

– Où pourrais-je passer bien cette soirée?[8]

Самое удивительное в этой игре, что она не вполне, не до конца игра. Впрочем, как и все на этом острове: и так и не так, и есть и вроде нет, нечто, но одновременно и некто. Заговорит на другом языке – и в Ней самой что-то изменится, покажется, что это правда, что – итальянка! англичанка! японка! а если мало, то и француженка...

Какой и кем проснется сегодня? Я все оглядываюсь на березки и спешу, спешу к Ее пробуждению разделаться с желтой напастью. А

---

[3] Мой дорогой (*англ.*).

[4] Милый, самый-самый! (*Итал.*)

[5] Как мне пройти к дороге? Я заплачу. (*Англ.*)

[6] Я бы хотел купить сувенир (*фр.*).

[7] Руки вверх! (*Нем. и польск.*) Открываю огонь! (*Англ.*)

[8] Где бы я мог приятно провести вечер? (*Фр.*)

потом – сто шагов пройти, и я смогу смотреть на Нее! Присесть на корточки перед лазом в нашу пещеру и не пропустить, ничего не упустить из мига Ее пробуждения...

3

Раем на зямлі выглядываў наш сад,
Я ў ім – Адам, яна ў ім – Ева,
Ў раі гэтым вецер быў нам бог і сват,
Вецвямі шлюб давала дрэва...

Янка Купала, «Яна і я»[9].

Когда первая березка поднялась из-под камней – слабенькая, хилая веточка, чудо из чудес на нашем тогда еще совершенно плешивом, крысином острове,– Она спросила, нет, крикнула:

– Кто это?!

Кто, а не что. Детски-языческое из Нее и теперь не все ушло-вышло.

Я почему-то помню время, когда мы, и я и Она, были детьми. В том-то и дело, что вроде бы одновременно.

Как я с несмелой мальчишеской влюбленностью подсматривал за Нею в стайке школьных подружек и как однажды ошеломлен был, когда увидел, как они с заговорщицкими и как бы слепыми лицами побежали в сторону школьной нашей уборной, только в другую дверь. Конечно, для меня это не было новостью, **что они, как и мы** , но чтобы – Она! Был оскорблен образ, нетелесный, эфирный, который во мне жил и от которого я все время немножко был как бы под наркозом.

Помню Ее с бабушкой на катке. Бабушка держала на руках черную шубенку, пока внучка в белых высоких ботинках, голенастая, как аистенок, училась кататься на коньках, смешно, будто к горячему притрагивалась и тут же отдергивала ногу ото льда.

А вот Ее память этого не удерживает – упирается в березки, когда они были совсем веточками. Ну и, конечно, помнит вместе со мной беспанцирных черепах да шныряющих трехголовых крыс.

---

[9] Раем на земле нам показался сад,
Я в саду – Адам, она в нем – Ева,
А весенний ветер был и бог и сват,
И ветвями нас венчало древо.
Янка Купала, «Она и я».

Впрочем, какими-то кончиками память Ее протянута за таинственную стальную дверь, желтую от сырости, ржавчины. Которая за водопадом...

К нашим девяти березкам цветы не решаются приблизиться. Она уверена, что березы их отгоняют. Отыгрываются же вонючки на березках-детях. Мы здесь даже «грядки» свои, плантацию разбили – под защитой берез. Землю наносили со всего острова, соскабливали, выковыривали земляную мякоть из расщелин, трещин в скалах и в целлофановых мешочках таскали к березовой рощице. Этих мешочков множество валяется вдоль берега. Издали – словно застывшая мыльная пена. Или медузы. А может, это новые медузы такие? Вот и черепахи совершенно изменились, беспанцирные и прыгающие, как заводные игрушки,– лишь над паралитически подергивающейся головкой панцирный щиток.

На своей плантации, на грядках мы выращиваем дождевого червя. Первое дружелюбное живое существо, которое удостоило нас своим соседством на острове.

Как мы радовались, как счастливы были, когда это произошло. Она закричала так, что я сначала испугался, не беда ли. Червяк важно лежал у Нее на ладони, и мы трогали его, поглаживали пальцем, осторожно фукали-дули, как на огонек. Я все спрашивал, где, как Она его нашла. Она показывала на лужицу в расщелине. Но я невольно поглядел на низкое небо наше. (Тогда это была серая пелена – будто марля натянута поверх воронки.) В наши пацаньи годы мы были твердо убеждены, что дождевые черви падают с неба. Вместе с нитями дождя.

А уж Она и вовсе по-дикарски радовалась находке, словно знакомого встретила: похохатывает, подносит к лицу, наклоняется, чтобы дыханием согреть. И – «моя пружинка», и «живая ниточка», и даже из лексикона моего детства – «дождинка живая». Согревала, ласкала, щекотала, чуть ли к щеке не прикладывала – будто птенчик, цыпленочек пушистый у Нее в ладонях.

Небесный гость, наш «Даждь-бог», казалось, был не безразличен к царскому приему, сжимался, разжимался кокетливо, чем приводил Ее в еще больший восторг, прямо-таки в экстаз. Я вынужден был забрать у нее находку, опасаясь, что заласкает насмерть.

Долго искали в расщелинах: а может, найдем подружку нашему Даждь-богу (имя Ей понравилось, теперь Она заглядывает в мою осторожливую ладонь, приговаривая: «Даждик мой, Даждюник!»). Я тут же прочел лекцию, как размножаются дождевики: совсем не парно. «Бедненькие! – вырвалось у Нее. – Ну не смейся, что я такого

сказала!..»

Нашли еще, совсем уж чахленьких, почти прозрачных. Она их забрала и носила в ладонях, сложенных ковшиком, раковиной, дышала на червяков, шептала-разговаривала, лепетала по-детски.

Тут и возникла мысль о «роддоме» для небесных пришельцев, а точнее – о грядках, о плантации. А если еще прозаичнее – о промышленном, так сказать, их воспроизводстве, «по японской лицензии». Изобретательные японцы в свое время даже предметом экспорта сделали белок из дождевых червей, выращивали их в огромных ящиках, бассейнах. Что ж, живое живым питается, не с нас началось. Единственная проблема: а как у дождевика с плутонием да цезием? Но ведь мы едим и рыбу и черепах, а этот все-таки землянин, как и мы. Если и светится невидимо, то не больше нас самих.

Ну а брезгливость – это не для нашего острова. Если что и мучило мою новую дикарку, так это жалость: червяк для Нее нечто более живое, нежели рыба.

Когда заболела, я отпаивал Ее теплым бульоном; пила, морщась от боли в горле. А поправилась, даже молитву сложила в честь Даждь-бога, телом которого питаемся. Сложив ладони у тверденьких своих грудей, крикнула громко, пробуя вернувшийся к Ней голос: «Спасибо, Даждь-бог! И – сын! И – внук!»

А что, может быть, так и молились лет тысячу назад где-нибудь в хвойных лесах?

Она у меня существо до смешного нетерпеливое, если взыграет аппетит. Минуту назад не хотела есть, ни за что не хотела, а тут уже хочет – пожар! Ни одной минуты потерпеть не умеет. Аж морщится, поскуливает, ногами переступает, нервно и виновато смеется – подавай!

Да Она и во всем остальном такая: птенец с широко раскрытым клювом.

Бульон из червей мы называем молочным, я напомнил, что была такая пища, самая на земле святая,– молоко, потом оказалось, что опаснее его ничего нет. И были коровы – самые добрые и верные спутники человека через всю обозримую историю. Но и они сделались этаким парнокопытным реактором-размножителем: каждый хлопок уроненной коровьей лепехи – будто разрыв нейтронной гранаты!.. Мирный атом оборотнем оказался. Ну а что потом натворил военный, «знает только ночь глубокая...». Вон те мрачные стены вокруг острова...

Я – это «мы», все люди, которые были, и, конечно, за все в ответе, Она – судья и прокурор делам нашим. Дитя обобравших Ее

мотов-родителей, неумно злых и жалких, назвать нас Каинами для Нее мало, изобрела несуразное слово: Всекаины!

– Я сама бы вас, у-у!

Ну хоть бы цветы эти приняла, смирилась бы, поладила с ними: остров слишком мал для любой вражды. Даже с цветами. Но чего Она не умеет, так это, во-первых, дожидаться, а во-вторых, мириться с тем, что неприятно Ей. Необъявленная война: цветы как бы назло Ей и растут. И трупно воняют только для Нее, потому что я этого запаха не улавливаю.

Мы с Нею на одном острове, на семейном островке живем, но похоже, в совершенно различных мирах. Иного мира Она не знала, не помнит, для Нее наш остров – вполне что-то нормальное, и Ей столько еще открытий предстоит – в себе самой. Жизнь открывается.

А у меня такое чувство порой, что островок наш и не на Земле вовсе.

...Я стою у входа в каменную нору, в нашу спальню, достаточно просторную и обжитую, тихонько отложил в сторону и подальше свою косу, присел на корточки и смотрю на спящую Женщину. Уходил – спала ногами к выходу, но уже развернулась головой сюда, точно выкатился на солнце поспевший плод. А что может быть прекраснее, свежее подрумяненного северного яблока, брошенного на солому: светлые волосы Ее перепутались с побуревшими водорослями, из которых мы себе сделали постель.

Я иногда долго наблюдаю, сидя у утреннего костра, что с Ней творится, как только я Ее оставляю одну. В нетерпеливом беспокойстве начинает искать, куда девался, куда пропал, но глаза приоткрыть, посмотреть, недоспать минутку – это выше Ее сил. Забавно-сердито начинает бросаться то на спину, то на живот, вертится, как магнитная стрелка, а потом – будто катапультирует! – всю гору волос своих выметнет наружу, где солнце. И успокоится.

Раковины ушей светятся из безобразия спутанных волос и водорослей, рука непроизвольно лежит в направлении библейского греха, не то стыдливо указывая, не то дразняще прикрывая. Классика. Музейная. Спит моя классика по-детски крепко. Знает или не знает, негодница, что я здесь, смотрю?

Я хорошенько вымыл руки, всего себя отмыл под нашим «душем»: не поленился сбегать к водопаду, чтобы не оставалось на мне (придуманного Ею) запаха цветов. А иначе радость, праздник Ее просыпания может быть испорчен, погашен в первый же миг. Это столько раз случалось: утреннее постанывание, счастливая улыбка и

вдруг – гримаса отвращения, почти боли, утро изгажено.

Но сегодня я вымылся особенно тщательно. Сижу на корточках, дожидаюсь выхода королевы.

– Ты где? – позвала из глубины сна, из длинного коридора просыпания.

О, это непростая процедура – открыть наконец глаза! Последовательная цепь героических усилий. Замучишься наблюдать и начнешь помогать – целовать закрытые глаза. (Когда-то в детстве, **Ее детстве** , я учил, требовал: не открывай их сразу, пока не убедишься, что солнце закрыто тучами! Сначала сквозь узкую щелку выгляни. Ночью, ночью насмотришься сколько угодно! Было или нет такое с нами, но в Ней вот осталось. А может, всего лишь милая женская лень?)

– Ну где ты? – спросила Она, все еще не открывая глаз. Подставляет лицо навстречу поцелуям. Хмурится. То ли от поцелуев, то ли, наоборот, оттого, что я нарочно промедлил. Сообщила, пожаловалась:

– Снова приснилось.

– Вот и оставь тебя одну! Ну, кто приходил на этот раз?

– Селена.

– Обе вы распутницы!

– Но я не виновата.

Случалось, ночью будила меня, жаловалась, и было видно, что всерьез:

– Она мне не дает спать.

– Да нет же ее, где ты видела ту Луну? Ни разу не было.

Действительно, на нашем круглом (как из колодца) небе, все на нем – ну не все, но многое – как прежде, а вот Луна не появлялась ни разу. Только солнце да звезды.

– А старый бродяга Млечный не приходил снова?

– Тебе смешно, а я во сне плачу.

– Космическая блудница – вот ты кто!

Глаза Ее, не раскрываясь, все больше наливаются смехом, он брызжет, проливается сквозь узенькие щелочки.

Я вспомнил и рад сообщить:

– У какого-то народа знаешь как Луна называлась? Беременная. Кажется, у хеттов.

– Ты мне солнце загородил. Нет, постой, ну куда ты уходишь? Я сейчас проснусь, сейчас. Иди сюда, тогда ты не будешь загораживать.

А дальше – что-то по-испански вроде. Ага, сегодня мы из Севильи! Или из Мексики, Эльдорадо?..

У нас с Нею кругосветное свадебное путешествие, по всем континентам, вот так – с закрытыми глазами.

Не знаю, что и как Она, но я вот что чувствую: **мне последнему дано! может быть, последнее, и ничего этого уже никогда не будет!**

Глотаешь, как воздух, который ушел, окончательно уходит, каждым вздохом догоняешь его, хватаешь – как мать за край пеленки, из которой выскальзывает верткий ребенок.

Эти Ее сны, космические, можно и так растолковать: когда нас было много, мы были малоинтересны далеким дядьям и теткам нашей Матери-Земли. Живут, толкутся ее бесчисленные двуногие любимцы, ну и ладно, если ей нравится. И вдруг немыслимое сотворили и с собой и с Матерью родной! Даже дальний Космос потянулся разглядеть: да что же это за шустрые детки?

Но я, кажется, перефилософствовал и забыл, зачем пришел, сижу себе перед пещерой. А голос сердито-обиженный:

– Ну что ты не идешь?

Глаза наконец открылись, по-детски радующиеся утру.

– Жду, жду…

И вдруг передернулся гримасой отвращения нежный рот, в глазах уже не пелена ласки, желания, а гнев, обида:

– Опять! Опять принес этот запах!

– Да какой запах? – Мне, конечно, тоже обидно. – Нет его, понимаешь, нет! Придумала ты все.

Придумала, конечно, но я-то зачем так старательно отмывался от несуществующего запаха? Странный мир, в котором мы оказались, диктует нам, определяет наше поведение, даже если оно против здравого смысла. Смысл-то этот здравым когда был? Когда и мир был совсем иным!

Она очень чутко уловила искренность, глубину моей обиды, ущемленного мужского самолюбия. Я ведь помню (и Она, конечно, тоже), когда, в какое утро объявились эти проклятые желтые цветы: **да, да, после нашей первой ночи!** Не в этом ли тайна и ответ? Как бы уловив тень опасной моей догадки, Она тотчас переменилась вся: ни сонливости, ни гримасы будто и не было! Одна лишь радость утра.

– Тащи! – выкинула тонкие руки из пещеры, показывая, какие они длинные и какая Она вся: руки, шея, вытянуто-суженная талия, запавший живот, а где-то там, дальше, еще и ноги – тянущийся растягивающийся, многочленистый Даждь-бог, извлекаемый моим взглядом из языческой пещеры.

Но хватит выманивать взглядом, теперь приказано

тащить-вытаскивать руками за руки.

Я взял Ее пальцы в свои, погладил, прижал к земле узкую ладошку, которая шустрым зверьком тут же перевернулась и царапнула мою коготками. Нет, нет, ничего не имеет в виду! Глаза закрыты невинно, ожидающе.

– Ну где ты там? Тащи!

Нравится нам с Нею вытаскивать Ее из сна, тащить-волочить из каменной норы, длинную-предлинную. В такую безразлично-послушную превратилась, сонно расслабилась каждым сочленением, тащишь, растягиваешь, а Она все на месте, только розовее, светлее кожа становится на изгибах рук да на животе. Живой поезд бесконечен, сколько его еще там остается, в норе? Сначала одни только руки на солнце (загар сразу заметнее становится), а все остальное там, в прохладном каменном полумраке. Тащу старательно, медленно, продлевая насколько можно эту процедуру. Вот уже и лицо с зажмуренными глазами на свету, волосы озаренно вспыхнули, тянутся, отставая и запутываясь в водорослях, волосы – как золотистые волны, а плечи, грудь – как рифы из-под волн, то появляются, то исчезают. Следом ныряет и мой взгляд.

Зато Она, спокойная-преспокойная, отдала моим рукам и глазам себя, такую бесчувственную, такую ни на что не реагирующую,– чем не многовагонный состав, вытаскиваемый из тоннеля? Ничего не знаем, не чувствуем, не ощущаем! Значит, жди неожиданности: вдруг подскочит и повиснет на мне с дикарским воплем или сотворит еще что-нибудь. Видали мы этих послушно-бесчувственных! Вот язычком вдруг попыталась достать собственное плечо. (Мы, кажется, сегодня далеко не уедем от нашей пещеры.) Длинно тянущийся живой поезд уже покинул депо-нору, граница тени и света медленно передвигается, плавно сужаясь на животе и круто расширяясь бедрах. На солнце загар заметнее, поэтому то, что еще остается в тени пещеры, светлее того, что выехало. Щелочки глаз напряженно поблескивают – изготовилась, негодница, что-то сейчас выкинет, может, мы просто хотим подсмотреть, убедиться, как нами любуются, достойный ли прием оказывают, а значит, каких милостей заслуживают. А работник уже отдыхает от тяжких трудов, удерживая на весу за руки добытое: предстоит коронное ритуальное действо. Будем извлекать самое длинное, что у нас имеется,– ноги. Она ждет покорно, терпеливо, вслушивается в мою побасенку про соревнование сельских врунов («Когда волы моего деда с пашни вертались, одни рога шли через ворота одиннадцать дней...»). Даже ресницы не дрогнули: одиннадцать так одиннадцать. Еще посмотрим, сколько

времени займут наши ноги!..

– Ну ладно, поехали! – набрал воздуху работник.

Ах вот как сегодня! Она пружинисто поджала ноги, выпрыгнула из пещерной тени, повисла на шее и крутанулась вокруг меня, стараясь ногами не касаться земли. Завизжала от такой хитрости и удачи. И тут же спокойно распорядилась:

– Все, идем под душ.

4

Хлое, глядевшей на него, Дафнис показался прекрасным, и так как впервые прекрасным он ей показался, то причиной его красоты она сочла купанье. Когда же она стала омывать ему спину, то его нежное тело легко поддавалось руке, так что не раз она украдкой к своему прикасалась телу, желая узнать, какое нежнее.

Лонг, «Дафнис и Хлоя».

Мы направляемся туда, где уже издали слышен живой гул и плеск падающей воды. Я обкосил все тропинки, ведущие к водопаду У нас хорошее настроение, точнее у Нее, ну а мое – в прямой от Нее зависимости. То идет тихо-мирно, то вдруг бросится и снова повиснет на мне, поджав ноги: неси, тащи! Или завизжит. Это у нас называется: «Огласим пустыню немым криком!» Что странно на этом острове, но чего Она, кажется, не замечает: иногда исчезает эхо. Многое замечаю лишь я, вот и эта странность одного меня преследует: рев водопада далеко слышен, урони камень со скалы – загремит, а крикни – как в вату. Поэтому хочется говорить потише. Но это мне так, а Ее вроде бы ничто не гнетет. Чего-чего, а странностей на этом острове... Некоторые мы, не сговариваясь, стараемся не замечать. В прямом смысле не видеть, не смотреть по сторонам. И это нам удается не хуже, чем человеку на дне колодца: куда же ему еще смотреть, как не вверх в небо? Не на стены же, со всех сторон сжимающие, теснящие. В небо да еще друг на друга: нас, слава богу, двое. В небе днем яркое солнце, ходит оно не как прежде, по дуге, а по кругу, но мы уже привыкли. По кругу даже лучше, может, это Заполярье такое. Научились не удивляться. Например, тому, что ночные звезды как-то помещаются – все какие есть – на небольшой

тарелке нашего неба.

А на то, что могло бы нас смутить, мы стараемся не смотреть. На глыбы тяжеленного мрака – стены нашего «колодца», высоко встающие над нами. Их полосуют веера огненных трещин-молний, немых, неслышных. А не слышишь, так можно и не смотреть. Не глядишь – вроде и нет этого. Есть на что, на кого смотреть: нас двое!

Но иногда начинаешь прикидывать (профессиональное для морехода): сколько, какое расстояние до тех стен и молний? Сто метров? пять километров? – каждый раз увидишь по-разному.

Поднялись по голой плоской скале к водопаду, образуемому приливами: по ночам в огромную гранитную чашу там, наверху, захлестывают волны, сладостно,– как сны моей Евы, тянущиеся, подтягивающиеся к невидимой Селене. Воды хватает как раз на сутки: она гладко, как светлое масло, опоясанное радугой, выливается сквозь широкую щель и каменно-громко падает на чуть скошенную скалу. Мы не сразу разглядели, что это наше «удобство» – человеческих рук сотворение (скорее всего инженерно точно направленным взрывом).

За падающей водой спрятана тайна, тоже человеческая. Чему служил или должен был служить этот искусственный водопад, мы догадываемся, но тоже стараемся не думать, не говорить об этом. Довольно того, что он у нас есть, роскошный душ, место, где мы обычно проводим самые веселые часы дня. Тут мы и рыбкой запасаемся: вода падает с пятиметровой высоты, оглушенные рыбины мгновенными осколками разлетаются в разные стороны, мы (Она особенно) с криком бросаемся к ним, хватаем добычу. Пугливо откидывая голову назад и в сторону, Она изо всех сил прижимает бьющуюся рыбину к животу, к груди и кричит умоляюще:

– Забери, я их боюсь!

Попадаются и крабы, они, как и прибрежные черепахи, почти совсем голенькие, беспанцирные, похожие на огромных розовых пауков.

Грохот воды, возбужденные крики моей Евы – это наш ежеутренний праздник. Но нам (мне) все время слышится сдавленная тишина – молчание стальной двери за пологом воды. Желтая от ржавых потеков, узкая и двустворчатая, как в лифте, кем-то спрятанная дверь.

Если зайти сбоку или, еще лучше, втиснуться между скальной и водяной стенками, можно коснуться холодного металла, пальцем провести по заржавевшей щели между створками. Ржавчина наросла буграми, хлопьями, кричаще-желтая, совсем как те цветы. Я пробовал

стучать камнем, чтобы определить толщину: плита-глыба почти полуметровая.

Иногда я один наведываюсь сюда отмываться от того, что Ей кажется запахом тлена, вонью. Она же без меня сюда не ходит. И не любит одна здесь оставаться. Когда я отправляюсь к источнику-криничке за пресной водой, бежит, догоняет меня, как собачка. А если все-таки останется возле «кухни» (у нас и здесь костерик тлеет), начинает громко петь, чтобы слышать себя, зная, что и я Ее слышу. Дверь, дверь тому причиной.

Избитые, истерзанные до сладкой боли в мышцах, мы выбегаем из-под жестких струй водопада и растягиваемся на теплых камнях. Рыбин, крабов мы насобирали, нахватали достаточно, теперь они у нас плавают в специальной «ванне» – в каменное углубление мы наносили воды.

В такие минуты Она любит поговорить о вещах, о которых мы обычно и думать и говорить избегаем. Стараюсь развеселить, перевести разговор:

– «Клянусь, фантазия моя на этот раз чрезмерна... И если все это есть я, то глуп я стал, наверно...»

Щегольнул капитан-подводник цитатой из «Фауста». А могу из «Илиады», а то из Шекспира. Бессмертные слова, фразы, мысли – казалось, износа не будет им, хватит на тысячелетия миллиардам людей. Осталось (|и надолго ли?) то, что подобрала утлая лодчонка моей памяти,– отрывки, осколки, ошметки...

Кажется, я только добавил печали в душу Женщины.

– Тебе весело? Мне – нет. А еще эта дверь...

– Далась тебе эта дверь! Склад какой-нибудь.

– А почему же закрою глаза – и сразу: огоньки, огоньки скачут? Ты их не видишь?..

Я упрашивающе глажу Ее прохладное плечо: ну не надо! Но когда вот так прикоснешься к Ее коже, от «не надо» так близко делается к «надо», так же близко, как от Ее плеча к груди... Но мою руку крепко сжали и положили на теплую скалу,

– Вот так, забирай ее и не отпускай. А то оба у меня получите!

Усмешка, однако, недолго продержалась в Ее голосе.

– Знать бы хотя, что этот остров и то, что с нами,– правда, старухой готова быть, но только чтобы – правда!

– Еще набудешься. И мамой и прабабушкой. А знаешь, кто ты?

Увести, увести Ее мысли от этой желтой двери.

– Если мужчина – живое продолжение вот этих камней, этого водопада, то вы, женщины,– время, то есть самое таинственное, что

есть в материи. То, что зовет, увлекает в будущее. Через рождения и смерти. Иногда так повлечет, потащит по Млечному Пути, что и про вас забываем.

– Вот-вот!

– Расширение, разлетание вселенной – от вас, все это вы. И не жалуйтесь, если, устремляясь за вами, мы потом не можем остановиться. Так говорил одессит.

– Это кто?

– Мой Пом, помощник. Когда-нибудь расскажу.

– Я – пустая, да? – снова Она о своем.– Мне зверята все снятся. Беспокойные, бессовестные. Обжоры! Но я, наверное, пустая, прости...

Поднялась, отошла в сторону. Ладно, лучше не продолжать. Пусть сама успокоится. Зажмурясь, запрокинув к солнцу лицо так, что волосы опустились чуть не до пят, стоит надо мной этакой бесстыжей Эйфелевой башней. А я смотрю на Нее, раздавленный этим архитектурным великолепием.

Наготы своей мы не стыдимся. Моя – что о ней думать. Ну а Ее нагота – ее и видишь и не видишь. Как бьющий в глаза свет...

5

У хаце ўжо маёй будзь гаспадыняй –
Няма ў мяне нікога, проч цябе;
Сядзь на пачэсны кут, мая багіня,
І будзем думы думаць аб сабе.

Янка Купала, «Яна і я».[10]

Мы готовим завтрак, Ей скоро есть захочется, и тогда – пожар! Лучше заранее за дело примемся. Знаем вас, не первый день! Да, не первый. У нас есть уже и общие воспоминания. Как мы вот эту запасную кухню оборудовали, чтобы тут же, сразу после душа, приступить к насыщению, «кормить зверя» (комплимент Ее аппетиту, и, пожалуй, преувеличения тут нет). Теперь-то у нас и рыба и крабы, хотя и похожие на пауков, а было время, когда пауки только и были нашими соседями по острову. Со всех скал свисали белые, похожие на

---

[10] Хозяйкой будь в моем дому отныне –
Нет больше никого в моей судьбе;
Сядь в красный угол свой, моя богиня,
Мы будем думу думать о себе.
Янка Купала, «Она и я».

хлопья пышной изморози рваные сети и канаты гигантской паутины, а на них висели, раскачивались комки черной плоти, безглазые. Безглазые, слепые, но за нами следили неотступно и даже как-то оповещали о наших передвижениях сородичей на другом конце острова: отовсюду сползались по беззвучному сигналу, стоило нам забраться на ночь в пещеру или просто уснуть под скалой. Проснемся, а нас уже «приканатили», как лилипуты Гулливера, паутиной обмотали и прилепили-прикрепили – им так хотелось нас обездвижить, замуровать, не выпустить. За ночь намертво забивали вход в наше жилище белой липкой массой.

Но особенно березкам доставалось, будто знали бегающие по своим сетям слепцы, что березки – самое родное и близкое нам на этом острове. Тогда они слабенькие были, тоненькие подросточки: каждое утро приходилось поднимать, высвобождать их из-под слякотной тяжести (точно внезапный снег выпал где-нибудь в начале июня).

Голод не тетка – мы эту слякоть варили, и получался кисель. Ничего, кисленький. А другого ничего у нас и не было. Не с той ли поры поселилась в Ней эта голодная нетерпеливость?..

Остров тогда был не желто-серый, как сейчас, а белый, маленькая Антарктида.

С природой что-то неладное, непонятное творилось – впрочем, чему удивляться? – в судорогах предсмертных она силилась, спешила еще что-либо напоследок, под занавес породить, произвести, но разлаженный генный механизм выбрасывал из недр своих нелепейшие комбинации, бессмысленные и бредовые, вроде тех трехголовых крыс, насмерть ранящих, загрызающих самих себя.

К паукам же своим мы даже привыкли, кормильцы наши как-никак. И в общем – безобидные. Тем более оценили их, когда вдруг, в одну ночь все переменилось, и, как все теперь, не в лучшую, в худшую сторону. Я проснулся оттого, что рядом кто-то дрожит, крепко схватившись за меня руками. А это Она – слушает и просит не спать, послушать. Отвратительный писк доносился снаружи. Весь остров, казалось, гадливо дрожал, вздрагивал от тысяч шныряющих по нему крыс, пожиравших пауков. Бедняги пытались спрятаться в нашей пещере, и вот тут мы увидели, рассмотрели новых своих соседей по планете-острову. Крысы эти походили на тощих нутрий, но с несколькими головами. Три или даже четыре оскаленные пасти на стеблистых шеях. Пауков не стало, и крысы уже охотились друг на дружку. Это был кошмарный месяц – их соседство. Все время ожидая нападения, они непрестанно скулили и искали, во что впиться

зубами. А так как каждая морда, пасть на длинной шее могла дотянуться до соседней своей же морды, шеи, они в панике и злобе загрызали сами себя, не замечали, что течет их собственная кровь, что свою выпускают.

А когда и крысы пропали в одночасье (будто примерещились), из оглушенного, разлаженного чрева жизни выбросило вот это – рыхлые огромные цветы. Наш голод готов был и на них наброситься, если бы не их будто бы запах, а главное, нам водопад выплеснул первую рыбину и маленького краба. Казалось, возвращается подобие прежнего мира, нормального. Ну, не вполне, а все же. А затем объявились и наши милые, прекрасные посланцы неба – дождевики.

Ими сейчас и занимается моя Женщина, пока я поджариваю рыбу на постоянно тлеющем в расщелине огнище.

У нас уже имеется несколько каменных ванн, где мы наращиваем запасы белка. Все отходы другой пищи бросаем небожителям – дождевикам: плодитесь и размножайтесь! Как в космических ракетах – замкнутый цикл.

Она сидит на поджатой ноге (любимая поза), показывая мне истертую хождением босиком круглую пятку, волосы перекинула на одно плечо, чтобы не мешали, и перебирает грязно-розовую массу. Подняв повисших между пальцев дождевиков, любуется, рассматривает, ну совсем как в былые времена сестры Ее нитками жемчугов любовались. Наблюдать Ее вот такую – ничего в мире интереснее, прекраснее не осталось, не оставлено мне. Поласкав дождевиков пальцами и взглядом, полюбовавшись, поиграв с живыми ожерельицами, отделила нужную для бульона порцию и направилась к другой лунке, где помоет червей, а затем будет растирать их камнем. Но остановилась, задержалась возле костра, выразительно втянула ноздрями вкусный запах жареной рыбы. Сама же ловко, изящно удерживает на растопыренных пальцах, словно пряжу, извивающихся небожителей.

– А знаешь...

И начинает рассказывать еще один свой сон, не забывая следить за руками, ласково уговаривая тех, что у нее на пальцах: «Ну куда вы, дурачки?.. Ну посидите спокойно». Я подозреваю, что сон сочинила уже утром, а впрочем, с Нею не разберешься.

– Приснилось, что у меня ребеночек с тремя головками, я их целую, глажу, одно личико смеется, другое хмурится...

– Нет, давай лучше, чтобы каждый сам по себе!

– Как скажешь! Рожу не хуже, чем эти ваши шлюхи!

Ага, мстит мне за «я пустая, да?», как будто не Она сама, а я так

подумал, сказал.

По-детски весело и легко говорит, а знала бы, о каких вещах, каких сатанинских! Природа запрятала тяжелые элементы и тайны, опасные для нас, поглубже – вытащили на свет божий. И забили то на одном, то на другом конце планеты рукотворные вулканы, сея невидимую смерть и уродства. Все, что прежде будило мысль об истоках жизни, о чистоте истоков (зелень, молоко, дети), теперь существовало в перевернутом виде. Скошенная пахучая лужайка перед музеем: «Интересно, сколько тут миллирентген?» Осеннее свечение берез, пора беспричинной, счастливой грусти: свечение, **излучение** ...листья по асфальту как искры невидимого зловещего пожара. Девочка несет две бутылки молока: «Кто, кто дал ей эти гранаты?» Стайка шумных детишек-школьников вбежала в вагон метро, и о чем подумалось? О щитовидках, о маленькой печени, о тех же рентгенах, миллибэрах, детские клетки их всасывают, как губка...

Очень точно проследив за крысиной пробежкой моей памяти, Она как поленом вслед швырнула:

– Это всё вы, Каины! Всекаины!

И удалилась в величавом, царственном гневе заниматься своими червяками, бульоном.

А я почему-то вспомнил картину, которую видел, кажется, в нью-йоркской галерее. Воины выстроились резко наклоненной вперед стенкой против такой же стенки врагов. И те и другие дружно выбросили вперед дула ружей, вот-вот произведут залп. У этих и у тех – по одному миндалевидному глазу на каждом лице. Только у одних – левый, у других, соответственно,– правый.

– Просто не успели понять,– говорю я Ей, но как бы и в прошлое обращаюсь,– а надо было понять, и как можно скорее: одним глазом (безразлично – левым или правым) всю истину не разглядишь. Правому нужен левый, а левому – правый. Чтобы видеть объемно. Считалось, что нужно беречь богатства генофонда, разноликость национальных культур, зато социальные структуры каждому хотелось подмять под свою единственную.

– Все тесно вам было! – доносится издалека, перетирающий червей камень просто скрежещет под Ее рукой.

– Да, как тому чумаку в степи. Опрокинул нечаянно котел с кашей и рассердился: «Проклятье, и повернуться негде!»

– Я бы вас сама всех поубивала!

С тем направилась к водопаду мыть руки. Но была наказана: захотела зайти за полог воды, а там цветы устроили Ей засаду. Утром их не было, я специально посмотрел. Я бросился на Ее

обиженно-испуганный вопль.

6

И вновь бессонная ночь пришла, с мыслями о том, что сделано, с упреками за то, что не исполнили. «Целовались мы – и без пользы; обнимались – лучше не стало. Так, значит, лечь вместе – одно лишь лекарство от любви. Испробуем и его: верно, в нем будет что-то посильней поцелуев».

Лонг, «Дафнис и Хлоя».

Ногі падкасіліся і мне, і ей,
Зліліся вусны з вуснамі самі сабой,
Полымем прыпалі грудзі да грудзей,
Змяшаліся мы з сонцамі, з кветкамі, з травой.

Янка Купала, «Яна і я»[11].

Она захотела пить, надо спуститься к криничке, это метрах в двухстах, но там самые цветы, просто бушуют. В ладонях водички принести, что ли? А почему бы и нет?

Да, ведь есть пластиковые мешочки, весь берег усеян ими, сморщенными, замытыми песком. **Чем шторм сильнее, тем больше медуз...** Ну и что, мы вот варим бульон из дождевиков в жестяной банке странной треугольной формы, есть у нас и кусок жести, на котором поджариваем рыбу: **как не быть, если здесь рядом металлическая дверь...**

Многое, очень многое не по старой логике. В ладонях буду носить водичку, и не игры ради, а как бы потому что ни этих самых мешочков, ни банок-склянок нет и в помине. И вообще ничего. Может быть, и нас... Стоп! Иди-ка лучше по воду. Мы без одежды; наги потому, что душно, всегда душно. Мне. И потому, что я вижу Ее, хочу

---

[11] Ноги у обоих подкосились враз,
Слились уста, и руки сплелись в венок живой,
Пламенем мгновенным охватило нас,
С солнцем мы смешались, с цветами, с травой.
Янка Купала, «Она и я».

видеть. **Есть то, чего хочется, а если чего не так потому, что и не надо, чтобы было** .

В конце концов и с цветами то же самое: Ей кажется, что от них непереносимая вонь, и я поступаю так, словно не цветы это и даже не грибы, а вскрытое массовое захоронение. Потому и бегаю вниз-вверх, сама Она не может спуститься к криничке – задохнется от липкой вони. Вода из ладоней, конечно, выливается, но дело-то совсем в другом – в моем нелепом старании и благодарно-ласковом взгляде, каким меня всякий раз встречают.

А снизу погляжу на свою хлопотунью, нет, не кухней, не мной занята – завороженно смотрит на водопад, но я знаю, что Она **туда, за водопад, смотрит** . Напившись еще раз из холодной шуршащей кринички (никак не могу залить собственную жажду), бегу наверх: как все-таки повезло мне, что я уберег глаза. Мне они оставлены, чтобы кто-то видел Ее. **Мне, чтобы кто-то...** Пусть даже так, согласен. Главное, что я Ее вижу.

Нагота Ее бывает и иной, совсем, совсем другой: не отстраненно-целомудренной, как вот сейчас, а резкой и бурной, когда уже и кожа кажется, мешает стесняет, теснит. Сорвала бы, чтобы ближе, ближе, чтобы дотянуться! До чего-то в самой себе, обидно ускользающего...

Первое Ее удивление от боли, даже слезы обиды – это не ушло окончательно, остается, мешает. Все не приходит, не возникает то, что обещают ласки, о чем Она словно бы помнит, догадывается, знает. Однажды в ответ на Ее обиду-нетерпение я стал жизнерадостно пояснять, что, мол, миллиарды женщин могли бы подтвердить, что это ни на что не похоже,– ух, что в меня полетело!

– Чтоб они сдохли!

Когда Она ревниво это выкрикнула, все те женские миллиарды на миг ожили в ней, в последней.

Желтые цветы, да, они с той первой нашей ночи. **Продолжение такой прекрасной ночи?** А может, прекрасной она была только для тебя – откуда тебе знать? Казалось, бесконечно длилось теплое забытье, внезапные просыпания с радостным подтверждением, правда! это правда! И уже другой, **семейный** , запах поселился в нашей пещере...

Утром я проснулся от восторженного вопля, высунулся следом за Ней на свет и глазам не поверил: земля, небо, воздух, все вокруг колебалось, пульсировало – вот-вот оторвется и улетит. Весь мир был в желтых цветах, в мерцающем, неверном, как. северное сияние, свечении. Оглянувшись благодарными глазами на меня, по-оленьи

широко шагнула навстречу новой красоте, доверчиво побежала, как ребенок в луга.. А потом, держа руки на весу, внимательно-гадливо рассматривала свои растопыренные пальцы. Я бросился на помощь, ничего не понимая, а Она шла мне навстречу, как незаслуженно обиженный ребенок...

Смотрю издали на Нее, вижу, как Она напряжена, оставшись наедине с дверью за водопадом, как пугает и притягивает Ее прячущаяся за дверью тайна. Заметила, что я наблюдаю, и, как бы сбрасывая наваждение, крикнула:

– Да хватит бегать, я уже напилась!

Взобрался к Ней на скалу. Она догадливо взглянула на плотно сжатые губы мои, на округлившиеся щеки, засмеялась и подставила рот, как птенец клюв. Напоил, а затем поцеловал – сразу два добрых дела.

В Ней в одной собрано все оставшееся, все, что способно еще дать смысл чьему-то существованию, моему существованию. Может потому в Ней так много всего и все такое разное.

В чертах тонкого лица как и в самом Ее характере, восточный тип женщины и славянский, европейский проявляются попеременно. В какой-то день Она вся – послушание, вопросительное заглядывание в глаза: что? что-нибудь не так? сказала не так, сделала не то?

Но вот по-видимому, показалось Ей, что не оценили Ее восточную, не воздали всего, что Она заслуживает за робость и покорность, ну тогда получайте, чего сами заслуживаете! Как с обрыва понеслось, и голос уже другой, и все другое. Какой там Восток, какой Север, да тут сама Африка – крылья точеного носика напряглись до дрожи.

То же самое и волосы, они у Нее не черные и не светлые, цвет а точнее сказать **свет** их неправдоподобно изменчив. Утром вот здесь, у водопада светлая зелень в них играет, а назад будем идти – ветер их начинает кидать, как огромное вороново крыло, к вечеру в них уже сияют медовые краски, закатные тона. А то вдруг сединой блеснут – как пожалуются.

И пахнут Ее волосы в разные времена суток по-разному, ночью словно бы воском, а под утро будто уксус где-то разлит.

То прямые они, как конский хвост, то, наоборот, завиваются летучими локонами, особенно возле Ее чистого лба. А на спине – точно прибрежная волна на рифах, такие неспокойные.

По-другому всякий раз светятся волосы, и лицо при этом то смуглее, то наоборот светлее делается – в зависимости от голубизны или синевы глаз. Впрочем, они у Нее темные. Нет, постой, какие?

Всякий раз приходится заново узнавать заглядывая.

Спускаемся к берегу, к океану, Вблизи нашего острова океан тихий и ласковый, как равнинная река. Ну а дальше мы стараемся не смотреть – там шевелятся стометровой высоты жгуты черной воды, закручиваются, завинчиваются и немо рушатся, как горы...

Зато песчаный берег, помеченный человеческими следами,– все то наше. Кое-где письмена высохшие, затертые: иероглифы нашей любви. Бывало, прибежит: «А я тебе письмо написала». Нарочно промедлю. Она сразу «Сейчас пойду сотру!». А потом стоит на скале и смотрит, как адресат топчется вдоль Ее строк, разбирает-читает. Дождавшись, когда напишу ответ, бежит вниз.

Иногда полдня не расстаемся, везде вместе, но кто-нибудь спохватится:

– А нет ли мне там письма?

– От кого?

– Кто-нибудь да напишет.

– Телеграмма! Я вам прочитаю по телефону.

– Пожалуйста, прочитайте.

Ревниво подчеркнет «любимый», «скучаю», глаза всерьез потемнеют, расстроится по-настоящему. От игры до правды у Нее миллиметры.

На этот раз сразу же увлекла меня в воду, теплую какой-то остывающей теплотой, с гарью. Вода – истинная Ее стихия, если кем и была в прошлом, так дельфином. Или «морской обезьянкой» – читал где-то как мы прямо с деревьев спрыгнули в океан. Точнее, деревья погибли от засух, и хищное зверье нас загнало в воду.

Так что и вся наша красота – от воды, ее работа. С открытыми по-обезьяньи ноздрями не поплаваешь навстречу волне – и появился такой вот носик, точеный. Морская соль всю шерсть выела, ну а голова была над водой – вот откуда Ее волосы, сами как волны. И грудки тоже повыше переместились, чтобы детеныша покормить, стоя в воде. Все так просто.

Тигры саблезубые нетерпеливо метались по берегу, но мы уже приспособились: и рыбка у нас под руками (под ногами), и деток можем накормить, если не очень штормит, и зачинаем-плодимся – все в океане, не вылезая из теплой водички, подогретой магмой, вулканами.

Дельфины, наши добрые соседи, так никогда и не вернулись на берег, может, правильно сделали. Вот и рака у них не бывает. (Странно сознавать, что я знаю столько всего, что никогда и никому не понадобится.) Ну а нас ностальгия замучила. Снова зацепились за

сушу там, где проморгало зверье, просочились, закрепились, расширяя плацдарм и постепенно тесня природных врагов. Но не тогда ли, в воде – от беспомощного, голодного смотрения на потерянное, недоступное,– не там ли возникло завистливое желание тоже иметь хорошие клыки и когти? Вооружиться, вооружаться – камнем, палкой, винтовкой, бомбой.

Так и не успели остановиться.

Вначале я опасался океанской воды, везде чудилась эта невидимая гадина – радиация. Пока не обнаружил, что Она тайком купается, давно лазит в воду, от меня убегая. Узнал – испугался страшно, все присматривался: как волосы, как зубы, а это что за пятно? не тошнит? «Да, да, тошнит от стольких вопросов! Вот идем со мной и увидишь, какая хорошая вода. Выдумали какую-то радиацию!»

И сегодня тоже смотрит гордо и радостно, будто Она этот океан и придумала специально для нас. Что, надо благодарить?

– Ну вот, сразу и целоваться! Ты не умеешь. Надо вот так...

– А ты где научилась?

Теплая вода, отдающая горелым, горчит наши поцелуи. Глаза у Нее уже серьезные, ждущие, тревожные, и я знаю отчего. Ну не надо, вот увидишь, все будет, все!..

Осторожно коснулся ладонями напрягшейся от ожидания груди – панически отпрянула. Как от ожога. Но не от меня, а в сторону и тут же обратно, сама отыскивая тот ожог. А в глазах страх, боязнь, что и на этот раз Ее обманут, снова Ей не дотянуться туда, куда ласки заманивают, что-то обещают. «Мне больно!» – скажет обиженно, даже враждебно, почти грубо. И отстранится, погасшая.

Кажется, ни для кого и никогда это не было так важно – чтобы отозвалась, откликнулась освобождающей дрожью чужая плоть. Как удар молнии, разряд – в воду, в землю, пробуждающий, возвращающий из небытия. **Это есть, а уже никогда не будет, поэтому никогда и никому, я знаю, не было и не будет вот так, это последнее, вот это, вот это! – через меня, мной, через нас – последнее на Земле, это последнее, последнее!..**

– Делай как ты хочешь, делай! – Отчаянье и мольба. Откинувшись на мои руки, смотрит в небо, в наше круглое, усохшее, как куриный глаз, постоянно сонное небо, и кажется, что от нас, от нас зависит, чтобы оно снова широко распахнулось над Землей.

Надо только, чтобы вспомнила, как это бывает, чтобы вспомнила – Она, Земля. Ты же знаешь, знаешь, знаешь!

По ночам Она сухо и недружелюбно расспрашивала о том, до

чего Ей дотянуться мешает, может быть, как раз нетерпение. И всякий раз я Ее упрашиваю, вот как сейчас:

– Не думай, ты об этом не думай!

Сами мы или океан нас заботливо выкатил на мелководье, почти на берег, нас щекочуще опутывают резко пахнущие йодистые водоросли, песок сделал кожу, тела наши жесткими, но нам и хочется, нам надо, сладко быть жесткими, грубыми.

– Пусть, ничего, пусть! – Она покорно улыбнулась, резко, делая себе больно, выдернула свои волосы из-под моих неловких локтей.– Caro! Amore mio![12]

А глаза спрашивают: что, что еще, как я должна? – всматриваясь в меня и в то, как я смотрю на Нее.

– Тебе хорошо?..– Она уже о себе готова забыть.

Нет, что-то подлое в этом, каждый раз отдельном, сладком забытьи – точно труп пытаешься оживить. Дать, дать Ей дотянуться, не твое, а Ее обмирание сейчас нужно фригидной Земле! Миллиарды лет назад и тоже в таком вот теплом, подогретом вулканами океане зародилась жизнь – не от удара ли молнии?..

– Делай, делай, как тебе лучше, как тебе! Мальчик мой! Ragazzo mio!..

И вдруг что-то случилось, произошло в мире: Она услышала, а я еще нет. Но я вижу Ее побелевшие, вдруг умершие глаза.

...Вселенная, влекомая непреодолимой потребностью быть, длиться, пульсируя упругим светом, сжимаясь через расширение, возвращаясь через убегание, будто позванная кем-то, снова устремилась к точке, породившей ее. Точки-уколы по всей коже!..

– Мальчик, ragazzo mio! Теперь я понимаю: так умирают. Совсем не страшно, это вас и погубило, что не страшно!

7

Если блеск тысяч солнц
Разом вспыхнет на небе,
Человек станет Смертью,
Угрозой Земле.
«Бхагавад-гита».

---

[12] Милый! Любовь моя! (*Итал.*)

– Теперь все мы негодяи!

Профессор Бендридж – в момент взрыва первого в истории ядерного устройства.

– Всем приготовиться! Муляж не муляж – сбиваем!

– А если наши?

– Никаких наших! Мы не можем рисковать. Сбиваем всех подряд. На то мы –»Последний удар», «Мстящее небо». Последний удар должен быть за нами. Это – главное.

– Объект исчез.

– Возможно, его и не было. Тень тех, кого уже нет. Как там Земля?

– Черная.

– Ничего, там еще есть где-то наши. Под водой, под скалами.

– Если и наши, то только черные.

– Не понял?

– А обгоревшие все черные. Да и Земля стала негром.

– Уберите от меня этого болтуна! Замолчи, Боб!

– Нет, все это научно-фантастическая белиберда! Бредовый фильм или роман.

– Уберут наконец от меня этого читателя, заставят замолчать? Через десять минут начинаю отсчет времени. Последний. Приготовиться к залпу возмездия! Аппарат первый!

– Готов!

– Второй аппарат! Третий!

– Готов! Готов!

– Слава богу, кончилось наше бегство от всех. Начинаем атаку мы. Вступаем в игру.

– Берегитесь, последние жучки и червячки! Нет, подождите: а Юг долги Северу выплатил?

– Да замолчит он наконец? Тебе не здесь а в конгрессе заседать, среди оплачиваемых болтунов.

– Отзаседались. Ни конгрессов, ни Советов – стерильная планетка. Еще добавим миллиончик градусов – будет совсем как стеклянная. Стерилизуем по первому классу! Интересно, господь бог завел карточки на каждую планету, какие наш док заполняет на нас: количество рентген, бэр, может плодоносить, не может?.. Давно в записи заглядывали? Можете добавить собственной рукой: «Репродуктивность семени – невосстановима, сексуальная составляющая – ниже нормы, мягко говоря». Ни детей от вас, ни

удовольствия!.. Интересно, как высоко сюда поднимется сажа? Ночь... Нет, кому повезло с этой войной, так это Югу, так и не выплатил долги!

– Дождешься, Боб, что катапультируем тебя.

– Замолкаю, полковник. Еще лишь словечко. Мой отец говорил: «Когда одолевают мелочи, ухожу побродить по кладбищу». А еще интереснее – полетать над таким вот крематорием. Не хочешь, а станешь философом.

– Надоел! Доктор, полную порцию сна этому конгрессмену. Веселящего, чтобы не заскучал.

– А интересно, они там, на кладбище, под землей, тоже выясняют политические взгляды?.. Простим долги ближним своим... С победой, негодяи! С по...

8

И вот весь город вышел навстречу Иисусу...

Евангелие от Матфея, 8, 34.

Что это с нами? Что произошло? Вдруг поползли, ползем на коленях, Она так даже руки молитвенно простерла. Как будто подхватило нас что-то. Мы лежали на влажном песочке, оглушенные и опустошенные недавней волной, что наконец слила, соединила нас, и вдруг Она подняла голову, приподнялась: «Боже, смотри!» Я тоже глянул, там – человек. Метрах в ста от нас стоит человек и смотрит в нашу сторону. И мы поползли. Чтобы только не исчезло чудо, не растворилось, как мираж.

Поползли, как ползали – кто там? прокаженные, блудные сыновья? – к воображаемым спасителям, ступившим на Землю богам. А тут было большее: нашу Землю снова удостоил, осчастливил посещением **человек!** «Следу человеческому радоваться будете» – а тут не след, а сам, весь, вот доползем, и можно потрогать рукой. Чудо длилось, не пропадало, оно в голубом, в небесно-голубое одето, за ним на земле горит оранжевое пятно, человек что-то снял, бросил – скафандр астронавта, что ли?

Странно, но мы и правда с Нею почувствовали себя потерянными и найденными Мы уже стояли, поднявшись с земли и прижавшись друг к другу, как дети. А ему, пришельцу, казались, наверное, дикарями.

Нет, вот так стояли первые люди, первые Он и Она, познавшие

стыд, пред грозным оком создавшего их и приревновавшего – к чему, к кому, долго выяснять; была, была в том гневе ревность, а иначе не объяснишь силу гнева и суровость кары. Где третий, там ищи ревность. Мысленно я так и называл уже пришельца – Третий. Мы были наги перед ним, а он – в тонком голубом трико астронавта, и взгляд у него был совсем не как у нас – не молитвенный, а удивленно-иронический и немного как бы пьяный.

– О, смотрите, что я вижу! – орет он, точно не один спустился, а кто-то там еще есть.– Завидуйте мне, негодяи: тут лето, тут люди, женщина!. Загорают!. Молодец, писака, сочинять так сочинять!

Кажется, он по-английски прокричал, но для нас все языки – лишь различные фонетические вариации языка, на каком мы сами думаем. Совсем как во сне бывает: ты этого человека не знаешь, но его мысли – это не его, а твои мысли...

Однако парень приятный, а плечи, плечи! Лицо, правда, немного шальное, если не пьяное и ослепительно белозубое. Кожа темная, ну не совсем, скорее смуглая, а улыбка прямо-таки детская! Да что говорить: он прекрасен! Ведь это – человек! Она первая на шею бросилась, как сестра к обретенному наконец брату. Повисла, поцеловала. И уступила мне эту радость – обняться с человеком. Но мы лишь похлопали друг друга по спине, а я при этом почувствовал и не мог не отметить, что мускулы у него вялые, опавшие, хотя от размаха плеч веет силой. Долго летал. Неужто кто-то еще летает, плавает?..

Как он прекрасен, мой недавний враг, как рад нам, как счастлив, что я жив, что увидел Ее, нас видит! Что нас осталось хотя бы трое. Снова схватил меня за плечи, ослепляет белозубой улыбкой, орет, закинув лицо кверху:

– Вот он, человек,– живой! Живой! Будь проклят ваш вонючий гроб!

А Женщина уже возле скафандра, ощупывает его оранжевое покрытие, яркий цвет просто ослепляет. Пытается прикинуть, приподняв, с трудом удерживая перед собой, к лицу ли Ей материал. О, женщина!

Наш гость – истинный джентльмен – тотчас стал стаскивать, срывать с себя голубое трико. Остался в розовых трусиках. (А я уже и забыл, что бывают на свете такие вещи.) Отвернувшись (вот уже и стыд на острове нашем объявился!), Она натягивает наряд астронавта. Из прекрасной сделалась незнакомо прекрасной, новой, глаз не оторвать: нет, настоящая женская нагота – это угадываемая, умело прикрытая нагота.

– Дьявол меня забери! – все удивляется гость.– Сверху кажется, что сплошь дым и сажа, а у вас тут!..

– Так вы все еще...– При Ней не захотелось договаривать. Он за меня это слово выкрикивает:

– Все еще воюем! Пока Юг не выплатит все до последнего цента Северу, а Восток не уберет свои лозунги. Ха-ха-ха!..

Нет, джентльменскими не назовешь ни хохот, ни восклицания веселящегося гостя, а лицо – узнаю лицо пьяного человека. Но все равно, все равно здорово, что он здесь. И поговорить очень бы хотелось, что и как **там** (он ведь **откуда-то оттуда**), что с нами со всеми – и с Востоком, и с Западом, и с Югом, и с Севером. Но не до того, все наше внимание – на Женщину: самое важное для нас сейчас, чтобы Она была счастлива обновой. И мы дружно помогаем Ей – взглядами, восклицаниями – понять, как на Ней это выглядит и, главное, как выглядит Она сама.

Когда Она так одета, а медовые волосы пчелами вьются-летают вокруг прекрасного лба и длинно падают по шелковистому голубому морю, а в лице такая оживленная и счастливая скромность совершенства (боттичеллевская!.. Стоп, туда не надо!) – никакая война, никакая смерть не кажутся случившимися окончательно. Вместе с Красотой, собою занятой, по-детски уверенной в своем бессмертии, ты тоже скользишь, сползаешь в мир, как бы все еще существующий...

Не Каины, нет, и не Всекаины перед Нею, перед Всеженщиной, а люди, которые встретились в далеком, дальнем Космосе, состыковали свои аппараты, и о чем же нам говорить как не о родной, о прекраснейшей своей Земле? Про то, как много на ней всего и как все отрегулировано на тысячи и тысячи лет счастливой жизни, на миллионы лет для сотен тысяч поколений: воздух и вакуум, вода и огонь, свет и тьма, тепло и холод, любые краски, звуки, пища на любой вкус... Но главное, сколько всего лишнего, вроде бы необязательного, но без чего и самое необходимое будет пресным, без радости,– сколько на Земле всего, что не загрузишь, не возьмешь, не прихватишь в самую вместительную ракету или подлодку, не запасешь впрок и что потом в снах видишь – самое «ненужное», «необязательное» как раз и видишь. Роса до колен, холод в мокром еловом лесу (почему-то железная горечь во рту), шершавый от мелкой щебенки, голубой, озвученный на всю глубину бегущими вниз ручейками, дышащий постоянны ветром ледник; сладко налипающий в ноздрях, в глотке степной мороз... И люди, люди, тысячи случайных, надоевших, мешающих, не знаешь, куда от них убежать, уединиться,–

но это лишь когда они есть, окружают, теснят и когда знаешь, уединившись, что они **где-то там** . В этом все дело – знать, что они есть.

Да, система идеальная, все мыслимые и немыслимые варианты предусмотрены, сам господь бог конструировал, с запасцем.

Мы захлебывались памятью об ушедшем, утерянном, загубленном как о существующем. Брызги должны были бы обдавать, охлестывать и нашу Женщину, но Она и без того радостью переполнена, вся сосредоточена на новом для Нее ощущении – быть одетой. И руки, и колени, и грудь, и спина Венеры должны еще привыкнуть, что они спрятаны от мира, закрыты – совсем иное самоощущение. Все другое, вся другая. Вновь Рождающаяся – это так просто и объяснимо: у Женщины новый наряд!

А не самое ли время теперь, когда нас, мужиков, уже двое, повспоминать о сугубо солдатских наших радостях? Даже на корточки присели друг против друга – у гостя (при его почти юношеском облике) запасец впечатлений немалый, ну а мне, старику, тоже не хотелось бы отстать. Он с ходу про нью-йоркскую 42-ю улицу, куда мужская часть человечества, что и говорить, не идет, а стекает, человека порой так потянет сверху вниз, ничего с собой поделать не можешь – уж лучше сразу и сполна, чтобы избавиться от уводящих, раздражающих мыслей-помыслов, а потом вернуться к себе обычному и привычному.

Сам там побывал, «причастился». Не отпугнули и три креста-крестика, наоборот, туда как раз и устремился. Мало фильма, так еще... Сначала не поверил, что это правда, когда экран вдруг погас, буднично загорелся свет в зале и двое поднялись на сцену – сначала плоть черная, тут же изящно освободившаяся от халатика, затем – чуть посветлее, мужская, очень спортивная; из репродукторов на стенах вырывалась, оглушая, музыка, но самое оглушающее происходило на сцене перед экраном, на специально поставленной там кушетке. При этом самец-мужчина все посматривал в зал и, похоже, подмигивал нам как мужик мужикам...

– Вот вы какие! – раздался голос над нами как с неба.

Я и Третий, сидя на песке, виновато смотрели на Женщину, которая нам показалась почти огненной (в руках оранжевый скафандр все мнет, ощупывает – нельзя ли и его приспособить?).– Так вот вы какие, когда вас было много!

Попались, ходоки, как выкручиваться будете? Начали дружно хохотать. Теперь уж и я, будто передалось от Третьего, все хохочу, всему радуюсь. И особенно тому, что Она такая строгая с нами, такая

суровая и что Ее так злит этот наш дурацкий хохот.

– Прекрасно! Прекрасно! – радуется гость всему, что видит.

Показывать ему наш остров, наши уголки, хозяйство – одно удовольствие. Голубое трико, нас все еще не простившее, плывет впереди. Без ничего, без одежды Она даже ростом казалась ниже. Одежда на женщине – большой провокатор, это точно. И никто лучше ее самой этого не понимает.

– Прекрасно! – все повторяет гость.

А мне кажется, что он без конца о Ней, а не про наши скалы, да бухточки, да про цветы. На цветы он и не глянул. «Прекрасно!» – а взгляд не на желтом, на голубом.

Возле неумолчного водопада мужчины принялись за старое: пока хозяйка возится «на кухне», решают одним махом мировые проблемы. Мира вроде бы и не осталось, но мировые проблемы, как это ни странно, остаются.

Перед этим гость всему и вдосталь нарадовался, запуская пальцы в свою курчавую короткую армейскую стрижку: водопад – восхитительно! лунка с рыбой и крабами – прекрасно! черви дождевые – неописуемо, охренеть можно! Особенно восторг был, когда показали ему дверь в скале.

– А, крысы штабные, вот вы где!

Постучал камнем по железу.

– С победой, мерзавцы! Доигрались, черви зеленые?

Нас уже звали «к столу», но беседа, а точнее, крик стоял такой, что хозяйка уши время от времени зажимала очень выразительным жестом: мы даже водопад, грохот его перекрикивали. Направились к Ней, голосу поубавили, но замолчать нас даже аппетитный запах жареной рыбы заставить не может, даже голубое очарование хозяйки. О чем кричим? Да все о том: почему да как? Уж, кажется, все и обо всем знали, друг друга не уставая предупреждали, в кино насмотрелись, в газетах и книгах начитались, как и чем кончится, если начнется. Наперебой об этом говорили и те, и другие, и третьи. Но каждый говорил не себе – другому, а другого не слышал.

– Вот так, как мы сейчас,– спохватился гость, и мы рассмеялись все втроем.

«Вот бы раньше так рассмеяться»,– подумалось мне. Но, наверное, когда ладонь сжимает рукоятку пуска, палец видит кнопку, тогда челюсть тоже напрягается – улыбка, смех не получаются.

– Это еще хорошо, что не загорелось море, океаны,– проговорил Третий.– Сверху, но только вначале, было хорошо видно, как вспузыриваются океаны, Тихий, Атлантический, Ледовитый, то в

одном, то в другом месте. Подлодки, как рыбу, глушили друг дружку, ну а мы их еще и сверху.

– Да, что говорить, поработали на славу.

– Но островок все-таки остался,– радуется гость.– И даже завтрак. Не говоря...

И он выразительно кивнул на хозяйку. Нет, такая, как у него, улыбка, белозубая на темном лице, что ни говори – вещь замечательная!

Опять торопимся выяснить:

– Почему вы?..

– Нет, а зачем вы?..

Ракет, боеголовок осталось (если где-то осталось) меньше, а вот вопросов стало гораздо больше.

– Кому теперь нужны ваши социальные эксперименты?..

– А ваши права на выезд – кому?

Женщина смотрит на нас, слушает, и нам все меньше нравится выглядеть перед Ней идиотами. Хватит, что мы проиграли войну – оба. Теперь обоим проиграть в Ее глазах?.. Ни ума, ни достоинства спор нам не прибавляет. Все наши слова, горячность правоты – полнейший абсурд, шум-гам на кладбище, из-под земли! Что может быть нелепее и гаже!

И мы, оставив в покое друг дружку, общими силами набрасываемся на... матушку природу. Она виновата, она породила, допустила, позволила, даже спровоцировала, да, да, именно так! Ну зачем ей было только припасать для нас каменный уголь да нефть? Как специально. Не будь этих двух планок на лесенке, ни за что не добраться бы до ядерного горючего. Паслись бы мирно среди стогов сена да шустрых паровозиков, гоняемых древесным углем, время от времени кусались бы, но так, насмерть, как получилось, не смогли бы при всей нашей неуемности.

Как это она, мудрая наша матушка, не разглядела, что никакие мы не мирные, не травоядные, что такими только казались или прикидывались поначалу, выпрашивая у любящей родительницы право не попадать под опеку Великого Инстинкта. Мешал он нам, не позволял самопроявляться всласть и сполна, этот самый инстинкт самосохранения вида. А он у матушки природы почему-то товар дефицитный. Вручала его лишь самым забиякам: всяким там волкам-тиграм да гремучим змеям. Этим намордник Великого Инстинкта, конечно, нужен. А зайцу – зачем? А голубю – зачем? Человеку тем более не надо, он такой весь голый, без рогов, без когтей и клыков! Ну укусит собрата мелкими зубами, ну даст подзатыльник –

велика трагедия! Не разглядела матушка родительница, какие клыки, какие когти спрятаны под круглой, как крышка реактора, черепной коробкой. Какой взрыв, выброс возможен – страстей, жестокости, ненависти, кровожадности. И именно к себе подобным. Когтей нет, говорите? А камень зачем, что под рукой? Нет клыков, зато есть палка. Согнуть ее и совсем здорово – получился лук. А если дунуть огнем да через железный «тростник» – кто сильнее, кто дальше? Что, если это да соединить с этим, да еще вот так – что получится?.. До чего же любопытные детки! Собой бы заняться, так нет, каждому другого подавай! Кого бы повернуть, приспособить так, чтобы самому было не просто хорошо, а лучше, чем всем остальным?

– У них фонарики были такие,– вдруг прозвучал голос.

Мы так привыкли к собственному крику, что от женского тихого голоса ошарашенно замолкли. Сгребает в кострище остатки водорослей, что-то очень изменилось на недавно таком спокойном лице, глаза ушли от нас куда-то далеко-далеко.

– Такие вот фонарики, жужжащие,– она показала, сжимая-разжимая кулак, как их заставляли работать, светить,– зажужжит, и мы прячемся, замираем. Они нас искали. Светом по глазам и сразу – железной палкой по голове. Потому что мы дышим, а на всех не хватает воздуха. Жужжание и этот удар, как по сухому дереву.

Мы онемело слушаем. Я-то догадываюсь (нет, знаю), о чем Она.

– Не знаю,– продолжает Женщина,– как там у нас было устроено, но вода, пища и, главное, воздух – все подавалось на команду, голос одного-единственного человека. Кто он, наш кормилец-поилец, мы не знали, знали только, что он есть. Но, по-моему, они менялись каждые сорок восемь часов. Главный должен был подтверждать свое право командовать приборами, наговаривая им что-то. Как я понимаю, в этом был огромный соблазн для тех, кто был рядом: ухитриться сказать слова раньше, записать свой голос, оттеснив предыдущего. Где-то пришла и ушла очередь и моего отца... И он куда-то исчез... У них там были сплошные перевороты, и всякий раз менялась группа прихлебателей, тех, кого кормили-поили и кому давали дышать. Только с железными палками – те, кажется, не менялись. Шныряли, как крысы, по темным углам, выискивали **вчерашних, чужих** и вообще **лишних** . Потому что по темным углам и среди трупов прятались и **ничьи, ничейные** , но они дышали, забирали последний воздух. Переворачивали и мертвых, растаскивали трупы, а для надежности им тоже доламывали черепа. О, эти звуки! А запах, он до сих пор... сладкий такой...

Она невольно вытерла губы, рот.

Ну вот, так оно и есть: цветы и та дверь в скале за водопадом – не здесь ли объяснение, ответ? На многое, о чем я давно догадываюсь.

– О чем все-таки она? – спросил гость, кажется предполагая (и, возможно, справедливо), что в таком состоянии Она его не слышит.– Она что, оттуда? – спросил еще раз напрямик и показал (не по нашим правилам) на водопад.

Мы такие вещи, все, что тащит нас в прошлое, не только в разговорах, но и в мыслях стараемся обходить.

А взгляд Третьего заскользил по горизонту, по нашему горизонту, а для этого надо хорошенько запрокинуть голову. Мы, наш остров на дне глубокого колодца или скорее воронки. Высокие стены из шевелящегося, затуманенного мрака испещрены немыми бессчетными молниями, как трещинами. Молнии эти все всегда только одного цвета – или огненно-красные, или синие, или желтые, будто кто-то там, за прозрачным дымчатым занавесом, меняет, как в театре, цветные стекла. Но это если смотреть на стены. А можно и не смотреть, и тогда замечаешь лишь верхний, солнечный свет – на скалах, на цветах, на падающей воде...

– Ничего не скажешь,– громко, слишком громко восклицает гость |– поработали основательно! Там, наверное, и есть та самая зима, которой нас пугали ученые. Сначала всего наготовили, а после пугали... Вот уж где штормики – в кромешной тьме! Брр!

Весь вечер мы просидели под березками: костер, звезды над головой, можно подумать, что на Земле все как прежде. Правда, ночью все на острове – все предметы, вещи (и наши фигуры, лица) – фосфоресцирует от немых, «зимних» молний, но это можно посчитать даже красивым. Тем более, когда в эту фантастическую игру цветов, красок включен и Ее прекрасный, а сегодня почему-то грустный профиль.

Где есть разыграться-поиграть всем цветам молний – так это на маслено поблескивающих груди и спине нашего гостя: ночью еще заметнее, какой это правильный треугольник, а зубы, яркая улыбка – то розовая, то голубая, то желтая. Жрец, египетский жрец! Нет, мальчик-жрец: что-то очень юношеское в этой его геометрической фигуре, не говоря уж об улыбке.

Еще засветло мы притащили побольше высохших водорослей для ночлега. Гость таскал со мною на пару, Она их частью в пещеру затолкала (старые, потертые пойдут в костер), а частью под березками распластала и даже легла и весело примерилась, как будет спать,– разровняла, примяла.

– Это чтобы мне хорошие сны привиделись,– по-солдатски хохотнул гость.

– Совсем нет,– очень серьезно возразила хозяйка,– вы будете спать в пещере.

Чем-то недовольна, даже неловко: хозяйка как-никак, а он все-таки гость.

Тем более стараюсь я – вежлив, услужлив, гостеприимен, как хозяин пустующей, прогорающей гостиницы. Стал зачем-то убеждать, что в пещере очень хорошо, прохладно.

Но тут совершенно неожиданно хозяйка перерешила:

– Под березкой будет лучше. И звезды видны – ваш любимый Космос.

Что-то в нашей головке еще разок повернулось-покрутилось и, как диск рулетки, остановилось против другого деления (знать бы наверняка, что и как там вертится-крутится).

И вот: семья в пещере, гость – снаружи и действительно занят Космосом.

– Они что, по оси у вас вращаются? – доносится его голос.

– Именно так,– откликаюсь я,– и, заметьте, все помещаются на такой маленькой сковородке, и Медведица и Южный Крест.

– А Луна бывает?

– Только во сне.– Я напоминающе прижался к теплому лицу, снова улыбающемуся, снова близкому, заговорщицки ждущему.

Она уже озорничает, надоела Ей наша болтовня, становящаяся все более ученой, специальной: отчего небо такое и какие законы тут обманно-оптические, а какие – в подтверждение теории относительности? Прямо-таки издевается над нашими умными вопросами-ответами, над тем, как мы все на свете понимаем, и Ее руки, губы, колени, ее плечи, горячие и под тканью, тоже словно издеваются над нашей серьезностью и ученостью, не верят, что главное какой-то там Космос. И действительно я сбиваюсь с мысли, отзываюсь невпопад и все более хриплым голосом. А тут еще смеющиеся глаза приближаются ко мне вплотную, я таращу свои, показываю: услышит мол, неудобно! А Ей еще веселее от моего испуга.

Нет, когда вас только двое во Вселенной, вы можете считаться парой, прародителями, чем и кем угодно, но семьей становитесь, лишь когда объявится некто третий. Прежде мне казалось (нам казалось): семьей нас сделает ребенок. Оказывается, чужой человек (но человек!) объявился, и тут же потребовалось выяснение.

– Кто мы? – вдруг шепотом спрашивает Она.

– Как кто!.. Ты так и будешь одетая? – Нетерпеливый вопрос мой

прозвучал откровенно обиженно.

Она тихонько рассмеялась:

– Еще побеседуйте! – Но тут же сама обиделась:–У вас одно на уме ... Я знаю – противное слово: любовница!

– Есть другое: возлюбленная.

– А откуда ему знать, что не любовница?

Вот-вот, ему!

– Он не думает об этом, он завидует,– прошептал я. Сам не понимаю, как неосторожно и самоуверенно говорю.

– Все вы одинаковы! Лежит и подмигивает! Фу!

Отодвинулась подальше, к самой стеночке.

А голос снаружи продолжает мысль, на которую мы набрели сообща, объясняет, что уже однажды люди выходили в Космос – это когда вышли из воды на сушу. И однажды уже обжили его, пусть «малый», но тоже космос. Потому-то и начали крушить все вокруг себя, всю экологию как чужое. Оно и было чужое. Родное – вода.

– Как будто вы и океаны не убили? – Это уже Ее голос, вмешалась-таки.

– А это мы заодно уж! – захохотал под березками гость.– Остановиться не могли.

Доволен, видно, что выманил к себе Ее голос. Хотя бы его.

Снова Ее шепот, горячий, щекочущий ухо:

– Зачем он нам? И что он все хохочет?

– А что? – храбро говорю я.– Когда нас трое, как-то надежнее.

– Что надежнее?

– Ну, вообще.

– Что ты имеешь в виду?

– Природа любит количество.– Самоуверенность моя не знала пределов.

– Ну-ну! Раз природа, тогда не обижайся.

– Ты у меня смотри!

Сам не думал, что у меня может быть такой голос. Но Ей он нравился.

– Ты так и будешь в этой, его? – Я ненавидяще потянул гладкую, скользкую, как кожа змеи, ткань.

– Хоть к костюму ревнуешь, и то хорошо. А какие вы слова говорили? Вот так, в своих домах и ночью?

Ага, старая истина: женщина любит ушами. И я прямо из поцелуя неловко, бормочуще леплю слова: любимая... лягушонок... солнышко... мураш...

Отстранилась, чтобы я мог пояснить, что такое лягушонок,

мураш. Узнав, что общее у Нее с ними – длинные и голенастые ноги, глаза во всю голову, моя Женщина подумала минутку: не обидно ли? Нет, не обидно. Прижалась снова по-домашнему.

– Продолжай. Какие еще слова?

А я обнаруживаю, что таких слов знаю на удивление мало. Схитрив, вовлекаю в оборот разноязычные:

– Love![13] Коханая! Tesoro mio![14] Chica![15] Honey bee![16] Bass![17] Silly-billy![18] Солнышко! .. Cara![19] Ma petite![20] Schätzchen![21]

Есть еще слова, которые я должен бы повторять, но я этого не делаю. В моей капитанской каюте на подволоке, изогнутости потолка, за которой угадывается стальной корпус лодки, приклеена большая цветная репродукция картины самого лирического из великих итальянцев: «Рождение Венеры». Я знаю, что человек, которому дано полюбить, несет в себе заранее, изначально некий образ: любовь **еще до** любви. Для него самого до конца не проясненный. А образ моей любви столько людей внимательно рассматривали, столько столетий он перед глазами! И чтобы так совпало: Она и боттичеллевские женщины! Совпадает именно образ, а точнее – мое чувство. А их внешность – в том-то и дело, что внешность Ее какая-то ускользающая. Но именно туда ускользающая – к реальным полотнам. Они-то реальность, миллионы людей могли бы это подтвердить, я сам часами стоял возле них. Когда еще существовал город Флоренция, и можно было пройти под колоннадой музея Уффици и когда... Ну вот, стоило подумать об этом, и сразу опасно заскользил – за Нею следом.

Лучше не называть, не додумывать...

– Я себе представила, какой шепот стоял над всей Землей,– отзывается Она на мои любовно-филологические упражнения,– одно слово, по-разному, но одно: любимая, любимая!..

– Не забудь – и «любимый» тоже.

– Да, да, любимый, любимый! Одно-единственное слово в полной, над всей Землей, темноте.

---

13 Любимая! (*Англ.*)

14 Сокровище мое! (*Итал.*)

15 Малышка! (*Исп.*)

16 Милая пчелка! (*Амер.*)

17 Девочка! (*Шотл.*)

18 Глупышка! (*Англ.*)

19 Милая! (*Итал.*)

20 Детка! (*Фр.*)

21 Мое сокровище! (*Нем.*)

– На одной стороне был день, так что...

– Не мешай мне. Одно слово и над всей Землей! Ну подожди, stupido[22], пусть уснет он.

– Вот видишь, а ты завидуешь. Сколько было нас и как мешали друг другу!

Теперь уже я враг «количества», а Она смеется, счастливая и гордая моей настойчивостью, обидой, моей ненавистью к проклятому трико, которое точно приросло, приварилось к горячему телу.

– Лежи, я сама, ты, бедненький, устал от умных разговоров. Целый день умные споры, а мне так хорошо, и я вас не слышу, одно только: было? неужто было? что же я в тот миг почувствовала? Так боюсь, что не смогу вспомнить.

– Сможем,– говорю самоуверенно, убирая куда-то за спину комок побежденного наконец трико.

И тотчас получаю в ответ:

– У вас одно в голове!

И пошло-поехало, все по порядку. Нет, лучше не слушать, не отвечать словами. Не наше это занятие – любить ушами...

Наконец мы вспомнили, что не одни на Земле, запоздало замерли, смущенно вслушиваясь в уходящее эхо недавно бывшего.

– Хоть бы слово доброе сказала,– лицемерно пожаловался, прислушиваясь к дыханию-всхрапам Третьего,– хоть бы раз.

– За что?

– Как за что? Теперь знаешь, как это...

– Ах, как это бывало у тебя с ними? Вот будет ребеночек, нам будет хорошо вдвоем, а ты можешь возвращаться к своим шлюхам.

И если бы шутя, а то ведь всерьез готова отправить.

– А мне лучше было, когда ничего этого не знала. Это какое-то рабство. Нет уж, спасибочки! – И смеется, смеется.– Мне теперь собачки, птички снятся.

– Не сны, а Ноев ковчег.

– Надо же и этим парочкам где-то быть, если вы отняли у них Землю.

Постучала по моей голове косточками пальцев, как по кокосовому ореху, но тут же погладила ласково.

– У тебя все отсюда. Может, и я – отсюда. А они ко мне все льнут. Надо же им где-то...

И вздохнула, даже всхлипнула, как наплакавшийся ребенок,

---

[22] Глупыш (*итал.*).

которому захотелось спать. И тотчас заснула.

А я никак заснуть не мог, слушал Ее ровное дыхание, отдаленное похрапывание Третьего, его бормотание, а время от времени и истерический хохот, выкрики: все воюет.

Она вздрогнула и проснулась, вся дрожа от озноба. Это с Ней и прежде бывало. Тепло, даже жарко, душно так, что и дышать тяжело, а Ее будто снежной лавиной накрыло – так Ей холодно вдруг сделается. Думалось уже, что малярия, но не похоже: озноб как пришел, так и ушел – за минуту-две. Для этого надо только изо всех сил Ее «пожалеть» (сама жалобно попросит: «Пожалей меня!»), в комочек сожмется, чтобы спрятаться в моих руках,– и засыпает.

Лежал и старался выловить из прошлого все моменты, когда уже была, присутствовала Она. Я ведь так и не знаю, не помню, откуда и когда Она появилась в моей жизни. Вроде была всегда, сколько помню, даже где-то там, в детстве моем, нашем. Но была и какая-то иная жизнь, тоже моя, где Ее не было и быть не могло.

Неизвестно как и откуда просачивается в память вот это: прибежала ко мне нескладуха девочка (вся из коленок, локтей исцарапанных, в синяках), в глазах ужас, мольба:

– Кровь! Кровь!

– Что, что? Сорвалась, ударилась?

– Нет…

Ах вот что! Никто не подготовил малышку, не объяснил, что в ней дремлет женщина.

– Не пугайся, все хорошо.

– Я умру?

– Наоборот. Ты станешь когда-нибудь мамой.

Последняя капелька на последней веточке! Стряхнем, уроним – и хода назад не будет, ничего, что было или могло быть. Кто подослал сюда Третьего? Кому его не хватало? Природа мыслит количеством – это так. Ей нет дела до наших переживаний. Ну а как еще обращаться с теми, кто сумел, ухитрился сократиться почти до нуля?.. Давно надо было брать банкротов под опеку. Опоздала родительница, скорее всего опоздала.

Под утро пошел дождь. Я выглянул из нашей семейной пещеры – гость уже не спит. Кажется, озяб на земле наш астронавт, и скафандр не помог. Он накрывался им, от влаги оранжевая ткань потемнела.

Голубой горловины неба над нами нет, она затянута, как марлей, туманом. И молнии еле проблескивают сквозь высвеченный, озаренный ими туман, окутавший больше, чем обычно, стены нашего острова. Всякая перемена теперь пугает. Говорю как можно

беззаботнее:

– Дождик к урожаю.

– Что это, что это? – зашептала, задышала у меня над плечом. – Ну вот, я так и знала!

– Что знала?

– Что случится что-то. И еще такой сон.

– Да ничего страшного. Твой Даждь-бог червей подсыплет нам, как грибов. И потом, как сказал один недавний мудрец: дождь создает великие нации!

– Значит, это правда?..– донеслось из-под берез. Третий, приподнявшись, осматривается. – Все вот это!

– Не меньше правда, чем вы сами,– подтвердил я.

И Она тоже подтвердила – самим своим царственным появлением из пещеры. В голубой своей обнове. Приподнялась на цыпочках, потянулась.

– О-о, растем! Ну тогда пошли принимать душ.

– Что может быть лучше! – вскочил на ноги Третий.

Она в голубом, он в розовом, ну а я – чем бы и мне опоясаться? Бреду сзади, как Пятница, но ведь и он не гулял в чем мать родила.

Я присматриваюсь к Третьему: за ночь он изменился, лицо особенно. Нет, осталась та же ясная детская улыбка, но ушла прежняя, немного пьяная туповатость. И он уже не такой шумный. До чего же ловко кроит природа мужчин-небелых. У нас она потратится, не пожалеет фантазии, труда на женщину, а мужчину – хорошо, если через десятого обласкает вниманием. Нет, он даже светлее меня (загар гуще), а глаза стойко голубые, но дизайнер природа, рисуя, чертя этот торс, этот треугольник груди, спины, узкие бедра, лекала заказывала, выписывала определенно из Африки.

Под водопад наша Женщина сегодня не становится, сразу занялась «заготовками», мы тоже выбегаем и с гоготом помогаем Ей собрать оглушенную, сброшенную с высоты рыбу, таскаем ее в маленький наш садок-бассейн.

Улучив момент, шепнула мне серьезно, со значением:

– Мне сегодня нельзя купаться.

О том, что «нельзя», сообщается (когда и вдвоем лишь были) только шепотом. Стыдливо и огорченно. Значит, вся надежда впереди.

А когда мужчины после шумного «танца дикарей» под больно бьющими потоками водопада подсели к костру, Женщина спросила:

– Надеюсь, выяснили все и будет тихо?

Но сама же нас легко заводит:

– Так что: виноватых нет, все правы?

– Все правые – виноваты!.. Все виноватые – правы! – Это мы дуплетом.

– Ну тогда забудьте на время.

То есть вспомните, что Женщина рядом. Что ж, мы рады стараться. Гость особенно. Оказывается, он из разряда дамских угодников, мастер этого дела. Вот из кого слов тащить не надо! И какие слова! А Ей это нравится, откровенно нравится: еще бы, мадонна! Все, все оценил, проинвентаризовал – сверху донизу. И чем ниже, тем смелее называл всех этих мерил-джейн-сесси-бинни-лиз – весь золотой набор кинозвезд. Оказывается, чтобы угодить Женщине (смотри, как сияет!), не требуется ни изобретательности особой, ни фантазии. Главное, не церемониться со словами. Слушает – как голодный ест: даже руки у смеющегося рта, чтобы и крошку не уронить. Замечает и мой взгляд, нет, про меня не забыла. Короткой, торопливой усмешкой (ну не мешай!) обещает и со мной поделиться богатством, которое на нее сыплется. Чем ты, мол, недоволен, ведь все это наше семейное богатство! Радуйся, что твоя и еще кому-то нравится. А так – зачем Она и тебе? Я и радуюсь. Она снова и снова посматривает в мою сторону: будто тайком подсовывает, сдвигает мне под руку всю эту пышную кинобижутерию.

Что ж, пусть мужик старается, раз все равно это в мой кошель попадает. Трудись, не ленись, а я за водой пошел! Сгреб с земли обрызганные водопадом целлофановые мешочки, но только собрался уходить, а он сразу следом – помогать.

Э, да ты совсем не такой нахал, какой на словах, вроде боишься остаться тут с Нею!

– Отпускаю, раз вы такие! – разочарованно прозвучало нам вослед.

Конечно же, у нас снова разговор о вчерашнем, позавчерашнем, когда еще все было и все было возможно. Нет, мы не машем после драки кулаками, на это ума хватает.

Сошлись на том, что неразумно и просто нерасчетливо было – так стараться столкнуть друг друга с этой планеты.

– Да у кого бы вы хлеб покупали?

– А не будь по соседству социализма, очень бы с вами делились ваши толстосумы. А уж третий мир!..

– Ваши бюрократы…

– Ваши лучше?

– Да ну, одна порода! Только левое ухо справа и наоборот.

Мог бы рассказать, что сам когда-то слышал от деда, с которым

рыбачил. Про то, как немецким сельхозбюрократам, оккупантам, не хотелось ликвидировать колхозную круговую поруку за хлебо-, мясо– и прочие поставки. Переназвали это общинами. Вот такой бюрократический приветик – поверх любых идеологий!..

Набрали в прозрачные мешочки водички, холодной, такой твердой на ощупь, и возвращаемся, но никак дойти не можем. Время от времени там, наверху, нам нетерпеливо и возмущенно машут руками. Тотчас ускоряем шаг, но скоро, как в сетях или водорослях, запутываемся в разговоре, нескончаемом споре – и снова прирастаем к одному месту. Теперь уже и я внимательно рассматриваю, изучаю подступающую к нашему светлому острову, высоко встающую черную ночь, полосуемую немыми молниями. Мы, наш остров – всего лишь чаша с голубой крышкой, налитая светом. Стенки чаши запредельно черные, в адских трещинах...

Прежде я не позволял себе ни смотреть, ни задумываться. Что-то мне не позволяло, может быть, то, что Она рядом. Отводя свой взгляд, уводил и Ее глаза.

Но с Третьим даже интересно – понять, объяснить. Кто это из ядерщиков изрек: «При чем тут мораль, просто интересная физика»? Ну так получите «интересную» астрономию! Ливерморскую! Собрали их, у кого ум и совесть в разводе, и они добились-таки своего: соединили, склеили небо с землею, да так, что никому уже не расклеить.

Почему все-таки солнце у нас по кругу ходит, как вдовья коза на веревке? Утро, солнце вылетает откуда-то из глубины неба (не из-за края стены, ночи) подобно раскаленному снаряду, стремительно приближающемуся. Вот-вот врежется в островок... Нет, пошло по кругу!

Вот объяснение астронавта: произошло резкое, грубое искривление пространства, время здесь течет не по изгибающейся бесконечности, по кругу побежало.

Занятно, но мудрено. Мне все представляется более просты: пузырь, буквально пузырек воздуха завис и не всплывает, не лопается, а в нем все, все, что осталось. Висим, дышим, радуемся, живем.

– Возможно, кому-то там,– Третий неопределенно провел рукой, показывая на круглое голубое окошко неба,– понадобились зрители. Для последнего спектакля. Мы приглашены в ложу Великого Драматурга, он же Великий Режиссер.

– Скорее уж на сцену. Ему надоели массовки, грандиозные зрелища, с тремя персонажами удобнее, нагляднее.

– Пастораль,– обрадовался гость.

– Для пасторали нужны пастухи, пастушки. А мы с вами? Хотя после всего нет более мирных пейзан, чем мы с вами.

Куда как лучше существовать вот так, миролюбиво, а не швырять камни в чужой огород, друг в друга. Понашвыряли столько, что у каждого камней под руками – горы. Есть «чем отбиваться до скончания века.

Вот только один вопрос еще к Третьему:

– Слушайте, мы ведь шли на любые приемлемые взаимные уступки. Почему же вы?.. Или вас слова ослепляли: социализм, коммунизм?

Он точно не слышит:

– Слушайте, а кто это у вас?.. Я читал у одного вашего, перебегавшего: мол, честному человеку место не в тюрьме, а в лагере. Остроумно, да? Кто это у вас считал, что каждого человека на земле следовало бы перевоспитывать – за колючей проволокой?

– При чем тут это? Вы что, Сталина имеете в виду?

– Да если бы у вас его не было, наши мерзавцы выдумали бы: находка что надо!

– Ну вот видите. Так что не в этом дело.

– Не в этом. Но и в этом тоже. Если Великий Драматург захочет проследить, кто больше всего помешал нам принять друг друга...

– Да мы сами с ним давно рассчитались!..

– Того, что оставалось, вполне хватило, чтобы насмерть и навсегда нас напугать и отвратить. Лучше быть мертвым! Слыхали?

– Ну что вы так вцепились в эту паранойю?

– Мы? А может, вы?

Ну вот, пошло-поехало: мы, вы...

– Нет, признайтесь,– выспрашиваю я,– вы просто валяли дурака. Ведь все было слишком очевидно. В ситуации, когда никто на слепоту права не имел. А тем более права валять этакого янки-ваньку! Мол, пусть осторожничает, отступает-уступает тот, кто бездну разглядел, видит под ногами, а я, подняв глаза к небу, буду переть напролом! Это в одной-то связке? А ведь, если по совести, перли-то, рассчитывая на подстраховку, на благоразумие тех, кто на другом конце связки. Такое положение не могло продолжаться без конца.

– Зато на вашей стороне чувство нашей вины. Это чего-то да стоит!

– Перестаньте хоть сейчас.

– Как вам кажется, что сказала бы вот Она, если бы теперь слышала нас? – спохватился гость.

Мы глядим вверх, на скалу, а там прямо-таки подпрыгивают, как крышка на кипящем чайнике.

– Сказала бы: Всекаины! – соображаю я.

– Как-как? – восторженно захохотал гость.– Нет, с такой женщиной – хоть на необитаемый остров.

– Для необитаемого один из нас лишний.

9

Сколько бы камня ни обтесала нация, он идет большей частью на ее гробницу.

Генри Торо.

Я все-таки решил сделать шаг навстречу цивилизации. Она в великолепном трико, он хотя бы в трусиках, а я прикрыт одним лишь загаром да полинезийскими волосами до плеч. Пора и мне цивилизоваться. Пока они у моря собирают водоросли, я, оставленный готовить обед (мы с Третьим ввели «мужской день» по собственной инициативе), изучаю скафандр астронавта, нет ли здесь ткани, пригодной для набедренной повязки. А что, неплохо – ярко-оранжевая. Что-то твердое нащупал: металлическая тяжесть в одном из бесчисленных карманов с замками-»молниями». Да это же пистолет! Давно не виделись, привет, парень! Небольшой, ноздрястый, старой системы – астронавт мог бы иметь машинку и посовершеннее. Патроны в рукоятке, поискал в карманах запасные и нащупал еще что-то. Курительная трубка, какая-то странная, металлическая, но сработанная под дерево. Ну ясно: пуф-пуф – и ваших нет! Пистолет-игрушка, патрончики в утолщении-барабане, ага, нажимать вот здесь.

Находку отложил в сторону на видное место и принялся чистить рыбу. Лучше бы ножик хороший принес в кармане гость, а то приходится действовать острыми раковинами. Без ножа сложно будет распороть жесткую ткань скафандра. А хорошо бы: они появятся, а их встретит некто в оранжевом – знай наших! Впрочем, сюрприз я приготовил: лежат голубки, на самом виду. Он что, забыл про пистолеты свои?

А в этом кармашке что, в верхнем? Карточка астронавта, что ли? Сколько набрал миллибэр? А может, и не милли? Что?! Цифра эта и слона свалит! Что-то понаписано разным почерком. Да нет, не всерьез это, просто развлекались в своем космосе.

«Репродуктивность–ноль (не восстановлена). Сексуальная составляющая – ниже нормы». Другой рукой приписано: «Ниже всякой критики. Вместо – принимать три порции виски».

Ладно, пусть лежит где лежала. Нехорошо, однако, получилось – будто обыскал «мундир врага». Но пистолеты он обязан был показать. Мы-то его приняли с открытыми ладонями.

Уже голоса слышны, смех, поднимаются сюда. Я не выдержал, встал и наблюдаю: Третий тащит ношу за двоих, Она же налегке идет впереди, а в руке у Нее (это уже мне сюрприз!) цветок. Взмахивает им, весело дирижирует, кажется, даже понюхала. Я чуть не упал от удивления. Будто проснувшись или вспомнив, отшвырнула цветок и даже посмотрела вслед испуганно, точно змею вместо палки по ошибке подняла. Но факт был: и несла и нюхала. Ну и что из этого следует? Не знаю, но сердце у меня колотится. Я отошел на шаг, отступил от края скалы, почему-то не хочется, чтобы меня сразу заметили.

– Привет! Ой, что это? – Она первая увидела пистолет и «курительную трубку».

А Третий освободился от своей ноши и только потом разглядел, о чем речь. Он смутился, даже покраснел.

– Я и забыл про свою коллекцию. Точно, лежали в скафандре.

– Можно мне пострелять? – Женщина находке очень рада.

А почему бы и нет? Теперь это действительно игрушки, мы тоже оживились, как-никак соревнование. Игры доброй воли. Ничто так не выделяет, не красит мужчину, как стреляющая игрушка в твердой руке.

Женщина все не может решить, из какого Ей стрелять, оживилась, точно в ювелирный магазин вошла. А мы, как услужливые продавцы, наперебой советуем: вот из этого, нет, этот удобнее. Один показывает, как держать, другой – как правильно стоять: вот так, развернувшись. Нажимать на это. Но я ничего не забываю. Схватил в сторонке, сорвал цветок, который утром не скосил, не сбросил в ущелье, и, мокрый, тяжелый, прихлопнул к скале: вот и мишень! Держится, как резиновая присоска. (Я невольно понюхал ладонь: нет, не пахнет, только сырость грибная.)

Она целится, так хочется Ей попасть, а мы поддерживаем Ее за локотки и похихикиваем снисходительно и с умилением. Конечно, промажет, знаем заранее, зато мы покажем, как надо – что-что, а это показать мы мастера.

Щелчок выстрела заполнил эхом все пространство меж черными стенами: точно одну из молний вдруг озвучили.

– Хватит, мадам, очередь наша,– голос мужа.

– Попала? Я попала?

– В белый свет – как в копеечку! – Вспомнившаяся присказка прозвучала двусмысленно: произнесена впервые с тех пор, как действительно врезали по белу свету, да так, что черным стал.

Теперь стрелять нам.

– Сударь, оружие выбираете вы,– предлагаю гостю.

– Нет, оружие мое – выбирать вам.

– Ой, как интересно! – вплеснула руками Женщина. А я буду секундантом.

Разобрались, кому из чего стрелять. Третий камнем нацарапал мишень – крестик поставил. Цветка моего будто не заметил.

Я выстрелил в цветок. Он – в свой крестик. И оба удачно. Нам поаплодировали. И потребовали:

– Вы и так умеете, дайте я еще раз!

Третий глянул в мою сторону, я отозвался согласным взглядом, просто здорово, как легко мы друг друга поняли: одновременно швырнули наши игрушки за скалу, туда, где море.

– Умники! Вы бы чуть раньше за ум взялись.

А нам все равно хорошо, радуемся, будто и впрямь что-то значит, что-то решает наш поступок. Мы отсюда кому-то демонстрируем, как легко и просто такое сделать.

– Когда нас уже трое, лучше без этих штучек,– весело поясняю Женщине.

– Именно! – подтвердил мой партнер по успешному разоружению. – Я подозреваю, что и **там** первым выстрелил третий. По вашему реактору, по нашему…

– Тем более что в каждом человеке тоже трое запрятаны.

– Ну вот, пошла арифметика,– заскучала наша Женщина.

Нет, это совсем не скучная материя. Мой пом, общительный, как все одесситы, часами просвещал тех, кто готов был слушать, когда подлодка наша подремывала в энном квадрате, развивал спасительные, как ему казалось, идеи о «многоотсечном человеке». Которого, если правильно, научно разгадать и просветить, высветить изнутри, можно подтолкнуть в спасительном направлении.

В каждом человеке, говорил мой одессит, размещаются три команды, по одной в каждом из трех отсеков. Три командира со своими послушными, преданными соратниками. И каждый хотел бы, чтобы остальные команды тоже шли его курсом к его цели. А курс и цели у каждой команды свои и разные. Отсек номер один – «песни и пляски» (это если огрублять). Этим – чтобы все сразу и тотчас: однова

живем! – самое лучшее, вкусное, приятное и всего от пуза. Немедленно плыть к острову, где молочные реки и кисельные берега!

– Это вот ты! – показал я на нашу Женщину.

– Согласна! Кто со мной?

– Подожди, разберемся дальше. В отсеке номер два «чадолюбцы».

– Это ты! – спешит Она, не теряя улыбки.

– Допустим. На стенке, на механизмах, даже на корпусе ракеты или торпеды – везде семейные фотографии, мордашки-кудряшки. Ради них готовы хоть в ад. Туда, туда, куда мы укажем,– ради детей, счастья потомков, даже с подтянутым брюхом!

– Что же останется мне? – поинтересовался Третий.

– Ну а третий отсек – это Некто. Самый таинственный, позже других объявившийся, но уже много успевший. Возможно, больше остальных. Человек-идея! И команда соответствующая – фанатики из фанатиков. Кисельные берега, мордашки-кудряшки – это если и интересует, то лишь как «идея киселя», «идея мордашек». Выбирать между идеей и киселем не будет. Он давно и навсегда выбрал: не суббота для человека, а человек для субботы!

– Ну нет, это не я! – запротестовал Третий.– Это какой-то фюрер.

– Зря отказываетесь. Первых двух в любом кролике отыщете, они – реликты. Именно третий, «идеолог» делает людей людьми. Удерживает и поднимает. С четверенек на ноги. Обязывает заботиться, думать не только о себе и не только о своем – это он. Жить мечтой о всеобщем счастье и благе – это он. Не будь его, шагу бы не сделали от гнезда-лежбища. Он и только он научил, учит заботиться об общем благе, интересе. О благе не только рода (тут и реликты что-то значат), но и любых других человеческих сообществ именно как человеческих. Иное дело, насколько то или иное сообщество действительно ради общего блага. Вот вы о фюрерах упомянули. Да, что получится – это не сразу угадаешь: храм братства или пирамида, памятник до небес во славу «организатора работ»? Вот здесь и зарыта собака – в жажде, азарте полной власти (и обязательно нераздельной) у каждого из командиров отсеков. А ее, нераздельную, даже весь человек долго нести не в состоянии, не становясь черт знает чем. Это еще Рим засвидетельствовал. Плутарх говорил. Тем более не по зубам она для одной трети нашей природы и породы. Но кого это и когда останавливало, удерживало? Ни первого, ни второго, а третьего и подавно. И – постоянная борьба, соперничество, подсиживания, неустойчивые союзы – весь набор, именуемый историей человека на Земле!

– Ничего себе красавчики, если не наврал твой одессит! – Женщина разглядывает нас как-то особенно пристально.– Значит, вас было не шесть миллиардов, а три раза по шесть. Нет, больше: там еще и команды. Теперь понятно, почему никак не могли ужиться. Если в себе никакого мира, какой же – с другими?

– Я же говорю, что выстрелил кто-то из-за нашей спины,– Третий гнет свое.

– Да, как это я забыл: не три, а четыре отсека-каюты. Вот и я забыл, а не следовало бы! Может, потому, что нас тут трое А есть еще и некто четвертый в нас. Дверь этого отсека снаружи вся мелом, краской, дегтем и чем только не исписана, не измазана: «Трус!», «Шкура!», «Предатель!» Это недружественная рука соседей. Презирают. А как не презирать, если отсюда нет-нет да и прозвучит команда, да такая грозная и мощная, что и своих забудешь, а помчишься исполнять: «Бросай, бросай все и спасайся! Падай! Беги! Ты мертвый, не шевелись!»... И детей при этом забывали, бросали, случалось, и стариков немощных – попробуй не послушайся: команда – как удар под дых! И про стыд-совесть забудешь. Но потом мучайся, терзайся – и все из-за него. Мы этот отсек назовем так: Свистать Всех Наверх! СВН. А если научно: Инстинкт самосохранения особи. И «чревоугодники» и «чадолюбцы» его презирают, но трусовато, как лакеи барина. Никак не готовы признать, что без СВН не смогли бы отвоевать место под солнцем ни брюху своему, ни тем же детям. Пинками да грозным окриком «держись, не сдавайся, если хочешь жить!» вгоняет, вколачивает СВН в «чревоугодников» и «чадолюбцев» такую стойкость, выносливость, силу, что сами потом поражаются: как добежали? как одолели? как смогли-сумели? мы это или не мы?! А когда подоспел, организовал свою группу – по соседству с реликтами – «идеолог», тут уж пошло-закрутилось! Первым делом все героическое он переадресовал себе. А СВН еще дружнее стали презирать и поносить как паникера и эгоиста, себялюбца. Тысячелетние состязания, борьба «идеолога» и СВН – это самые прекрасные страницы самых величавых саг, книг, кинофильмов. Побеждал в наших симпатиях чаще всего «идеолог»: его герои, его любимцы, все, кто ему верен, умирают красиво, говорят долго (время и деньги не лимитируют, техника-то информационная, как и всякая другая,– его детище), если надо – стихами, поэмами, серенадами. О, эта героическая кровь Каина! – сказано в давние времена, но как бы о наших, ядерных. Удивительно ли, что и остальные реликты льнут к «идеологу» и пинают (пока он дремлет) СВН. Были, объявились, правда, и у СВН союзники. Даже в стане, в отсеке «идеолога».

Уговаривали выбить для Инстинкта самосохранения особи дефицитный статус Инстинкта самосохранения рода человеческого. Того самого, которым обделила нас непредусмотрительная матушка природа. Ну да разве мог поступиться своим главенством, хотя бы частью своего авторитета «идеолог»? Или сам измениться в том направлении достаточно быстро? Ну, и еще такая вещь, как сила слова, точнее сила традиции в употреблении слов. Вот кто из вас – трус? Желающие называться трусом есть? А предателем? А подлецом и врагом собственного народа? Что-то не вижу охотников-добровольцев! То-то же! Ну а что, может быть, спасаешь род человеческий – это надо еще доказать...

– Не знаю, как вы, а я считаю,– Третий вдруг заговорил серьезным тоном, но в глазах нет-нет да и плеснет усмешечка,– считаю, что люди и есть бириты. Ученые, как всегда, напутали. Слышали про биритов? Это племя человекоподобных или обезьян; считается, что тупиковая ветвь развития. Тупиковая-то тупиковая а вышли в люди! Не знаю, как вы, а я насмотрелся. Брюхо ниже колен, а глаза печальные, как у шакалов. Потому что вечно голодные: при такой-то лохани горло у них, как у маленькой пичужки. Сколько ни нагреб всего, все равно мало, голодный блеск в очах. Аппетит – во, а горлышко – во!

– Ну, послушать вас обоих!..– не нашла больше и слов, так возмутилась наша Женщина. И уже совершенно по-детски:– Так что же, и я, выходит, такая? Не хочу ничего вашего знать!

Тут мы показали, какими умеем быть подлизами, какими не окаянными, а покаянными – оба. Нам и самим стыдно и обидно, что у Нее такие соседи, родня по острову и т. д. и т. п.,– пока Она не рассмеялась.

Но я все-таки вернулся к отсекам, сообразив, что напутал, переврал моего одессита. Выдал-таки желаемое за сущее. В том-то и беда, что четвертого отсека в нас нет: о, если бы великий Инстинкт самосохранения прямоходящих имел такую самостоятельность, свою дружную команду. Да нет, ютится СВН при «веселых ребятах», служит-услужает им по мелочам: попугает обжору какой-нибудь болезнью, пьяного из-под колеса выхватит,– да и то люди не ему в заслугу поставят, а самому создателю: мол, щадит пьяненьких, бережет!..

И только в экстремальных условиях царит, командует он, вот тут уж свистит всех наверх!..

Третий мою мысль перехватил, но за какой-то дальний, мной упущенный кончик:

– В нашем летающем гробу тоже были свои философы. Тоже мучились, кто трус-предатель, а кто герой, если теперь одна бомба на всех. Врач наш – все рентгены-бэры у него в тетрадках – дразнил самых больших патриотов: «Вот ты как считаешь – отдельный человек ради народа жизнь отдать должен? Правильно, обязан, и с радостью. Умничка! Ну а отдельный народ – во имя человечества? Разве он не такая же единица по отношению ко всему роду, как я и ты – по отношению к своему народу?.,» На десять витков хватало софистики!..

– Постой-постой! – вдруг спохватилась и Она, посмотрев на меня в упор.– Интересно бы взглянуть, а какими мордашками-кудряшками были оклеены стены твоей каюты?

Третий аж застонал, прислонившись спиной к скале,– так ему стало весело:

– Я себе представляю! По своей посудине: Сорок вторая улица во всем блеске!

Я же чуть не ответил Ей (и это была бы правда): «Твоими!»

Да, были там и всякие-разные, их мне приносили, дарили, наклеивали друзья-офицеры, понимавшие толк в «современной обнаженной натуре». Но и они тоже завороженно и подолгу рассматривали Венеру, стоящую на огромной перламутровой морской раковине,– бесконечно светлый и в то же время непроясненно печальный, почти детский взгляд ее, лишь подчеркнутый наготой прекрасного женского тела. Она ласково смотрит, но это – на мир, ее встречающий, а не на тебя, а потому ничей взгляд наготу ее смутить не может. «Черт, умели рисовать!» – пробормочет один; а другой так и руками взмахнет, покажет: волосы такие, что и не удержать на вытянутых!..

Боттичеллевскую эту, уверенную в своем бессмертии красоту, спокойную ласку женских глаз уносил я всякий раз с собой, погружаясь в сон, она, рождающаяся, встречала меня при каждом пробуждении – **Ее уносил, Она встречала...**

«Рождение Венеры» – репродукция, купленная во Флоренции, такая же цветная,– и на подволоке центрального поста. Прямо над главным командирским табло прикрепил, не пожалев технического клея, чтобы осторожненький мой заместитель не соскоблил перед очередной проверкой-комиссией.

10

Потопом были уничтожены все

создания; один лишь Ману уцелел... Желая иметь потомство, он стал вести благочестивую и строгую жизнь. Он также совершил жертвоприношение «пака»: стоя в воде, принес жертву из осветленного масла, кислого молока, сыворотки и творога. От этого через год произошла женщина. Когда она стала совсем плотной, то поднялась на ноги, и, где она ни ступала, следы ее оставляли чистое масло... Она пришла к Ману, и он спросил ее: «Кто ты такая?» «Твоя дочь»,– отвечала она... Вместе с ней он продолжал вести благочестивую и строгую жизнь, желая иметь потомство. Через нее он произвел человеческий род, род Ману, и всякое благо, которое он просил через нее, было дано ему.

»Сатапатха Брахмана».

На свою голову я наболтал про «многоотсечного» человека. Теперь чуть что (настроение такое у Нее все чаще) – слышишь: «Третий– это ты!», «Ты и есть тот третий!»

Тот, дескать, который сам тенями-идеями питается и всех бы ими кормил.

– Может быть, и я для тебя только идея, тень!

Но мучения Ее глубже, не только в моих достоинствах или недостатках дело. Как раковая опухоль под черепом, растет в ней догадка, подозрение, ужас, что мы действительно лишь тени, тени умершей жизни, и все нам только кажется. Ниточка памяти, тянущаяся к ржавой двери за водопадом, все напряженнее в Ней – вытягивает новые и новые детали, подробности, смутные, но болезненные. В том гранитно-стальном гробу, так здорово задуманном, сконструированном, построенном для долгой жизни с замкнутым циклом обращения веществ (растения должны были поглощать углекислоту, а человеческие фекалии питать растения), очень скоро сами люди превратились или в надсмотрщиков-палачей, или в лагерную чернь, истребляемую поголовно. Со все большей лютостью надсмотрщики охотились за всеми, а потом уже и друг за другом. И скоро в погасшем, пропитанном трупным ядом, мирке

осталось лишь двое. Девочка и немой. Как часто бывает, уцелели самые слабые и беспомощные: жизнь порой прячется в оболочке, где ее меньше всего рассчитывает отыскать смерть.

Девочка смертельно боялась немого, как и все там под конец боялись друг друга. Но вскоре она поняла, что нужна ему, без нее он не отдаст команду компьютерам и не получит воду, пищу, задохнется (аппараты неисправно, но все еще подавали запрашиваемое). Но и немой ее боялся. Потому что без него-то она могла просуществовать. Спал он неизвестно когда, все следил за ней. Или уходил куда-то на время, прятался среди трупов и, видимо, отсыпался. А затем появлялся снова. Ей было уже страшно, что когда-нибудь он не вернется, что останется одна. Даже привязалась к этому страшному, истощенному, как скелет, существу – единственно живому в мире смерти. Сама не заметит, как потянется к его руке (он испуганно отдергивал). Рассказывала ему вслух свои сны или фантазии: про то, как дверь открыли, впустили дневной свет и они вышли, а там все как было, солнце, трава, но она искала и не находила маму. И проснулась в слезах.

– А ты ее помнишь?

– Нет. Ничего не помню, я самый несчастный на земле человек!

Утром, оставив Ее наконец измученно уснувшей, я выбрался из нашей пещерки, привычно поискал глазами косу. Третий еще спит под нездешними березками, сон у него крепкий, ничего не скажешь. Нет, услышал меня, приподнял голову. Я показываю косой: пойдем, мол, поработаем. Только тихонько! Он тоже повращал глазами, догадливо кивая на пещеру, и мы удалились.

Что несколько усложняет и запутывает и споры наши, и вообще чувства к соседу и собрату по островной жизни, так это что он не просто американец (недавний противник), но еще и цветной (а значит, объект нашего с детства привитого сочувствия). Был бы он, как я, белый (хотя загар мой погуще, чем его природная смуглость), легче было бы выяснять и делить наше неразумное прошлое.

Нет, будь я на месте Ее – влюбился бы. В эту плывущую, плавную, как у зверя, пробирающегося по густой траве, походку. В эти по-особенному изящные руки, сухие и длинные ноги, гордую шею – не может быть, чтобы не замечала! Вот еще одно доказательство (в помощь науке), что начинался человек не где-нибудь, а в Африке. Лучшие лекала, еще не разбитые штампы господа бога употреблены были, истрачены на них, на первых.

Это все островные мои чувства и мысли, здешние, теперешние. Но есть еще и прошлые, воспитанные, во многом книжные. Мир

двигался, усложнялся – и белый и цветной. А менять ничего не хотелось, так это было привычно.

В нас камнем никто не кинет. Не мы изобрели дискриминацию черных. Наоборот. Настолько наоборот, что возможны были, случались с нами такие вот нелепости.

Полная беловолосая дама, одна из наших, прямо в римском аэропорту, как только увидела чернокожего, сразу полезла в сумочку, извлекла бордовый значок, повертела, изучая как его прикреплять, и устремилась это сделать – приколоть к лацкану превосходно сидящего на чернокожем ослепительно белого костюма. Возникла непонятная какая-то борьба, мельтешение рук – белых, темных. Проще говоря, было яростное отпихивание темными мужскими благословляющих на братство белых женских. Мы еще увидели уносящиеся по перрону белые туфли, белые штаны и бегущих следом двух типов, клерков с виду, белолицых, возмущенно оглядывающихся. Встречавший нас земляк пояснил безнадежно-устало, как бы в сотый раз: «Ну зачем же вы сразу так? Это же американский миллионер!»

А что, если рассказать историю эту нашему цветному американцу!

Он слушал неожиданно серьезно, внимательно.

– Что я не миллионер – это уж точно. И вы, как я догадываюсь. Но вот в чем ирония: вы, белые, эту бомбу придумали и сами себя первых извели. А заодно и всех остальных, желтых, черных полосатых. (Впрочем, и у них кое у кого тоже было что швырнуть, добавить в общий котел.) И снова в выигрыше оказались вы. Вас – две трети теперь. А я – лишь одна треть. А было наоборот

И только здесь он привычно зашелся смехом.

Вот они, проклятущие, снова за ночь их выперло, ступить некуда! Под ногами даже хлюпает от раздавленной грибной сырости – прямо какое-то цветочное болото. Я, отступив, принялся сбивать желтые жабьи головы. Ногами сдвигаю весь этот ненужный «сенаж» к ущелью, показываю Третьему: мол, давай помогай.

А он вместо этого по-утреннему потянулся, повертел руками как мельница, и снова смотрит на меня непонимающе. Ладно, справлюсь один. Он принимается рассказывать мне, какие тренажеры установлены в их аппаратах, интересуется, как занимались физкультурой мы.

Я все же подал ему свой вращательный агрегат (коса вся в молочайной слизи, липкой, чернящей руки).

Он инструмент взял, разглядывает: что за штуковина, зачем она? Попробовал вертеть не очень умело. Вопросительно посмотрел на

меня. Я показываю на высокий ковер из цветов, а он все валяет дурака, будто не понимает или не видит. Но меня уже прохватил холод: **а что, если их и правда нет? Не только запаха, но и их самих** ?!

– Да вот же! – прошептал я как крикнул, ковырнул ногой скошенное.

Забрал у него косу, и мы уселись на камни. Словно ничего не было, не произошло. Он, видимо, так и считает, ничего не понял, а во мне как будто что-то оборвалось. С трудом доходит, о чем он рассказывает. На ладонях каучукообразные липкие катыши, я их перетираю в пальцах, соскабливаю камешком (вот же, вот же они!). О чем он там толкует? А, об этой нелепости: ядерная засада, аппараты «последнего удара», «возмездие» – кому и за что собирались мстить? Недобитым обезумевшим живым существам, последней «биологической массе», когда уже нет принципиальной разницы между насекомыми, зверюшками, людьми!..

Возмездие настигло нас самих, громовое:

– Ах вы подлецы! Вот вы кто! Если я верно поняла, где-то еще летают и плавают ваши эти... И должны еще раз выстрелить.

Мы обернулись испуганно: Она стоит и, кажется, не замечает, что неодетая (костюм свой смяла в руках), глаза мечут искры.

– Гады вы, вот кто! Недобитые.

– Приказ такой,– виновато смеется Третий,– мы люди военные. А недобитые потому, что еще не выполнили приказ.

– Господи, и мне с вами тут быть! А еще эта гадость!..

Как я обрадовался Ее брезгливому движению, знакомой гримасе в сторону цветов! Она их видит, мы двое видим, все есть, ну а что с ним – это его забота.

Через десять минут мы уже весело дурачились по дороге к водопаду. Она привычно «подъезжала» на мне, внезапно повисая кошкой, нет, ни разу не ошиблась и не бросилась ему на шею. А что, полетать бы на таком «дельтаплане»: плечи, торс! Он смешно и опасливо сторонится, Она это заметила – теперь-то и жди, выкинет какой-нибудь фокус. Нате, мол, вам и разбирайтесь!

Наперебой обыгрываем тему о женщинах-инопланетянках. Женщина не коренная землянка, она сброшена к нам из Космоса или вытолкнута из антимира. А может, по женскому любопытству, сама явилась. Ну а мы – коренные, аборигены-обезьяны, женщине ничего не оставалось, как поднять нас до своего уровня, очеловечить. Хорошо бы и нас, вояк, очеловечить!

– Малоинтересное занятие.

Она критически оглядела нас, тряхнула волосами и ушла вперед. Бросила через плечо:

– Вам надо еще родиться. Я еще подумаю, надо ли это делать.

И вдруг остановилась на крутом спуске, повернулась к нам.

– А помнишь...

И стала рассказывать притчу, от меня же услышанную, про двух женщин, которые горячо доказывали свое материнское, единоличное право на ребенка. И как мудрец испытывающе предложил «поделить пополам».

– Понимаете, живого пополам!

Истинная мать, конечно же, уступила все права ненастоящей. Ну а лжемать, она на что угодно готова была.

– Кто-нибудь из вас уступил? Только бы жили дети? – судяще вопрошает наша Женщина.

– Уступали! Многое! – хором.

– Ну а в большом поступиться? Раз уж так далеко зашло, Дети же, дети!

– Есть вещи, дальше которых политики пойти не могут потому именно, что они политики,– явно скучая, пояснил Третий.

– А что, мир состоял из одних политиков? Не было отцов, матерей?

– Были еще и эти, которые... – Третий дурашливо зарычал.– Президент бросил им кость, потом попытался забрать триллиончик, а они – грр, цап за руку! Не те ребятки, чтобы поделиться чужим!

– Мы уступали сколько могли,– пытаюсь растолковать, объяснить, да и сам понять,– но сколько же можно? Если они как глухие! Старые газеты если поднять, даже их...

– А мы,– Третий явно дурака валяет, с Женщиной всерьез о политике разговаривать – это не по нем – мы так: лучше детям умереть с богом в душе, чем все равно потом – коммунистами! Они же все атеисты.

– А вы?

– Мы, конечно, тоже, но про это вслух не говорили. И нам очень хотелось отгрохать Ноев ковчег, космический. Чтобы на нем только чистые спаслись, а нечистых – на распыл. Но в компьютерах господа бога какой-то сбой, ошибочка случилась – и вот мы тоже здесь.

Он вот так, но Она-то всерьез. Чуть не плачет.

– Значит, поделили? Ребенка – пополам!

И провела рукой в сторону, где кончается наш остров, наш непонятно как существующий мирок. Там в кипящей от молний и штормов, заледеневшей саже погребено все – и правота одних и

неправота других, все истины, все идеи, все слова.

«Я вас взвесил, и найдены легки…» – странно громко порой слышишь голос собственной памяти: вычитанное когда-то, из разговоров запомнившееся.

Ночью я проснулся оттого, что Она, прижимаясь, шепчет ласковые слова.

– Тише,– уже привычно предупреждаю,– он, может, не спит.

– Ушел. Куда-то ушел. Вот бы насовсем.

– Ну зачем же так?

– А вот так! И я хочу, пусть будет все, все, что когда-то было у вас!..

Нехорошо грубой, вызывающе требовательной была Она, как бы уличающей меня. Как бы пыталась смутить саму реальность (или как Ей кажется: Нереальность существующего), провоцировала ее выдать себя.

А потом сладко плакала и горячо, горячо убеждала:

– Ragazzo mio! Amore mio![23] Правда, правда, я люблю тебя, люблю!..

Утром куда-то исчезла, вернувшись, шепнула:

– Я тебе письмо написала.

Я промедлил.

– Сейчас пойду и сотру!

– Я тебе сотру!

Бегу читать.

Бывало, целыми днями этим занимались: один напишет на берегу на сыром песке, другой узнал и спешит туда – прочесть, сочинить ответ.

Крикнула вслед мне:

– Не беги так, разобьешься!

Искал, искал вдоль воды Ее письмена, следы есть и ничего больше. Вот тут что-то было, но затерто ногой. Сама же и стерла.

Когда вернулся и пожаловался, что нет там ничего, Она с готовностью откликнулась:

– Вот я и говорю: ничего!

Это «ничего», постоянно Ее мучающее, меня уже начинает раздражать. Ну как Ей доказывать?

В одно из утр Третий, увидев что я отправляюсь косить, спросил шепотом:

---

[23] Мальчик мой! Любовь моя! (*Итал.*)

– На зарядку?

И присоединился. По дороге я решил действовать напрямик: заговорил про цветы, зачем их скашиваю.

– Прошу меня извинить,– Третий был заметно смущен,– но я, очевидно, еще не совсем отошел. Они веселящего сна мне вкатили хорошую порцию. Несколько раз наблюдал, как вы орудуете этой штуковиной, но не понимаю зачем.

Он тревожно оглядывается, смущенно смотрит мне в глаза.

– Да вот же они! – Я сделал резкий взмах-оборот своей косой, один, другой. – Вот! Вот!

И ногой отшвырнул скошенное.

– Да, конечно, конечно! – поспешно соглашается Третий, но смотрит на меня так, будто не ему, а мне вкатили того газа-наркотика.

Но не он моя главная забота. А вот что Она теперь порой не замечает своих врагов – цветы, это посерьезнее. Я наблюдал: когда они вдвоем спускаются вниз или сюда поднимаются, самые густые заросли Ее не пугают, как прежде. Да Она их просто не замечает.

Снова лезет в голову, как и когда они, проклятые эти цветы, впервые объявились у нас на острове. Сразу после той прекрасной ночи. Для тебя – прекрасной, ну а для Нее? А иначе почему так совпало?..

Я как-то заговорил с Нею об этом осторожно, исподволь, но Она будто только и ждала этого разговора, прямо-таки закричала:

– Ну что, ну чего ты от меня добиваешься? Теперь я уже хотела бы, чтобы были эти отвратительные цветы! Но только чтобы на самом деле! И даже крысы, пауки! О боже, я же и виновата! Нет моей вины. Потому что ничего нет. Неужели ты до сих пор не понял: ведь нас нет, нет, нет!..

11

Не прошло и минуты, как на ложе возлег супруг, появившийся немного раньше обыкновенного, и, обняв ее, плачущую, так ее вопрошает: «Это ли обещала ты мне, моя Психея? Чего же мне, твоему супругу, ждать от тебя, на что надеяться? И день и ночь, даже в супружеских объятиях, продолжается твоя мука. Ну, делай как знаешь,

уступи требованиям души, жаждущей гибели» .

Апулей, «Метаморфозы, или золотой осел».

– Милая, тихо, он услышит.

– И пусть. Если он правда здесь.

– А где же ему быть? Ну вот мы, ну вот же было только что!.. Ты не Венера Рождающаяся, ты – Буйствующая!

– Прости,– Она засмеялась, спрятав лицо,– ты делаешь меня такой, а сам тайком осуждаешь.

– Да, да, обязательно!

– А знаешь, какие теперь у меня сны? Скалы вокруг, скалы, я совсем одна, но мне хорошо, потому что я знаю – это не скалы, не камни. Выступают из скал, гроздьями кверху ползут ножки, ручки, попочки такие детские, головенки, я хлопочу возле них и совсем не удивляюсь, что они каменные, мои дети...

Ночью мы проснулись от голоса Третьего, он чему-то громко поражался, звал и нас посмотреть. В проеме пещеры странный льющийся свет, яркий, ярче, чем от немых молний. Выползли наружу и сразу точно под водопадом оказались – свет льется, падает с неба как бы обручами. Мерцающие обручи света, какого-то сухого, электрического, плавно сползают с неба, а другие им навстречу как бы взлетают. Северное сияние! Не раз наблюдали, всплывая, где-либо на Севере. Ну а где теперь не Север? Но что сделалось с нашими мрачными стенами? Женщина прямо зашлась от восторга. Игра, сумасшедшие переливы красок и цветов, богатства, никаким пещерам Аладина и не снившиеся! Точно все драгоценности Земли, да нет, Вселенной вдруг выступили, как роса. И самая чудесная капелька – Женщина, руками обхватившая житный сноп своих волос, прячась за него от наших взглядов. Она смотрит на «драгоценные» стены, мы таращим глаза на Нее и сообща охаем все громче и дружнее. Но только все вокруг – обман, игра света на кладбищенских стенах, и лишь Она – живая красота, единственная, последняя. Как тут не молиться? Не понимая, почему мы не смотрим, куда Она смотрит, сердито теребит нас:

– Да гляньте же, посмотрите!

И мы тоже оглядываемся на бездонные толщи зимней сажи, на которой, как на черном бархате, сияет обманная лавка джиннов.

– Драматург решил поразить световым эффектом,– объявляет Третий.

– Обычно это делается перед новым фабульным ходом.

– Да не болтайте вы, смотрите!

И вдруг я увидел что-то такое... Мы все трое не двигаемся с места – он, Она и я, конечно. Но я вижу (закричать готов, показать и Ей и ему!), как двое, отделившись, уходят от нас: голова и руки Женщины на плече ее спутника, а волосы падающей волной окутали их тела, ступают осторожно, как сомнамбулы, лунатики.

Я чуть действительно не воскликнул: «Смотрите, смотрите!» (Удержало только опасение, что как с желтыми цветами получится: кто-то видит, а кто и нет!) Но когда глянул на стоящих рядом Ее и Третьего, сражен был еще больше, голос мой пресекся. Я не просто глаза их видел («Ты?» – «Это же я, я!..»), мог поклясться, что увидел два луча света, которые пересеклись и трепещут, как крылья мотылька.

Оглянулся – тех, уходящих, уже не было.

12

Женщины: ведь это как бы даже не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще ничем никогда точно не определенные, непонятные, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них.

Иван Бунин.

Я здесь, наверху, а они вдвоем там, на берегу моря. Это так не соответствует ситуации: как раз меня сбросили вниз. Ей для этого и слов не понадобилось. Ушла, увела с собой Третьего, и все. Все дела. Теперь не он, а я – третий. Вот так. Немного времени понадобилось надорванному оборваться. Но только когда, когда это началось? Я уже готов думать, что в то самое утро, когда объявились проклятые цветы. Третьего тогда еще и в помине не было. Все и тянулось и даже считалось любовью, счастьем потому лишь, что Она себя еще не знала, не понимала. Просто хотела любить, сильнее всего хотела этого, но как и что оно означает – с чем Ей было сравнивать? Что теперь у Нее – тоже неизвестно. Хотел бы я, чтобы объявился еще кто-то, Четвертый, Пятый, тогда, может быть, и Третий узнал, испытал бы то, что испытываю я. Я уверен, что именно ему не хочу уступить, а если бы кто-то другой и, главное, если бы не было такого откровенного предательства...

Новая пара, семья перебралась вниз, к морю, там у них шалашик, стыдливо повернутый лазом от меня (хоть на этом спасибо!). Не сговариваясь, не подписывая «конвенции», поделили водопад и его дары, «последние дары природы»: я хожу туда лишь после них, когда вижу, что молодожены приняли душ и спускаются к себе.

Ну не убивать же нам друг друга! Это-то хоть ясно – после всего, что было. Не одни только литосферные плиты-континенты от ядерной пальбы сдвинулись, по-крокодильи наползая друг на дружку, сдвинулось и в мозгах что-то, не полные же мы кретины! Тут все ясно. Но кто бы мне подсказал, как быть теперь мне и как жить втроем на этом островке? Теперь он не подарок судьбы, а западня, ловушка, с него не уйдешь, не уедешь, не уплывешь. А то бы (иногда детская такая мысль) поплыть, и вдруг окажется, что стены ядерной тьмы не настоящие, что горизонт отступал бы, отступал, как неизвестность перед Магелланом, Колумбом, и заново бы открылся мир, снова чистый, снова прекрасный, каким он был всегда, хотя люди этого не знали... О, как бы мы по-другому в нем жили, уже зная! Легко сказать, попробуй по-другому здесь, хотя бы на этом островке! И не шестью миллиардами, а втроем. А может, мы для этого и оставлены (каким-нибудь Автором какой-нибудь пьески), чтобы проверить лабораторно: есть ли смысл и надежда, не кончится ли все тем же?

Каждый день, каждый миг видеть их там, стирающих следы наших с Нею счастливых дней и ночей,– нет, это выше сил человеческих! Порой кажется, что я наблюдаю со стороны то, что было у нас с Нею и что как бы продолжается,– с ума можно сойти! Иногда слышу Ее голос, смех, **обращенный ко мне** , несколько раз сам откликался смехом, бешеными ударами сердца – и тотчас правда падала на меня камнем.

Вот они вернулись «домой» (все мои мысли о них какие-то закавыченные, мстительно не признающие прямого смысла), сбежали вниз, размахивая мешочками с рыбой, держась, как дети, за руки, шумно помогая и мешая друг другу. Швырнули добычу к костру, всегда дымящемуся возле шалаша, и побежали к воде, разгоряченные. Он хотя бы в своих розовых, Она же с себя всю одежду на бегу срывает, затаптывает ее, как последний стыд.

Мне уже не хочется и к водопаду идти, лежу на скале будто прикованный и смотрю на них неотступно. Вот так и будет всегда? Тут и орел не нужен, клюющий печень. Каким только богам слать Проклятья? Вот он выбрался на берег первый и направился к костру (будет готовить завтрак?). Она подобрала голубое трико (вижу, что

посмотрела в мою сторону: вспомнила, вспомнила!), он вернулся и взял Ее за руку, легко подхватил и понес, а волосы, а руки и ноги Ее блаженно-мертво свисают к земле. Покрутил, поиграл в «мельницу» – детский сад!

И тут же, не успел я оглянуться, они уже за шалашом, и завтрак им не нужен – нырнули и исчезли. Только Ее костюм миротворчески голубеет на крыше.

Ну что, будешь наблюдать дальше? И ты себя не презираешь?..

Кто-то есть, есть за всем за этим! Большой, видимо, юморист этот ваш Великий Драматург, вон какие ходы и мизансцены! Да нет, не смешно, маэстро, скорее пошловато! Никто тебе этого не говорил? Так я скажу. Неплохо, однако, устроился: Сам – автор, Сам – режиссер, Сам – цензор. Что ни создал – Сам же себя и похвалил: «...и увидел, что это хорошо!» А если со стороны, то куда уж пошлее! И этот шалашик, и воровски заползающие в него на глазах у мужа любовники. Действительно гаденькое слово! Но теперь, конечно, таким Ей не кажется.

Ну а если бы я – по праву теряющего – взял да и поселил их здесь, а сам внизу (чтобы хотя бы не видеть их ежеминутно и не унижать себя в собственных глазах до такой степени)? Сильно проиграл бы в замысле Великий Драматург: не было бы той пикантности? А ему, судя по всему, небезразличен зрительский интерес. Хотя и зритель-то единственный, он Сам. Неужели не опротивело еще?

Зато психолог он что надо. Поэтому и нашу психологию наперед знал. Как умело внедрял в Нее тревогу: нет, мол, вас и ничего нет, вы всего лишь фантазия, мираж! Чтобы к Третьему подтолкнуть: падая в пустоту, будешь хвататься за все, что под руку попадет! Вдруг Третий – сама реальность? И то, что Она к нему испытывает (будто бы испытывает),– настоящее, правда! А то, что у нас было?..

Боль – лучший критерий, что есть реальность, что есть правда. Тут уж точно никакого обмана. Мираж не испытывает такой боли, какую вот сейчас испытываю я.

Но мне кое-что оставлено от нашего прошлого: мы время от времени встречаемся у водопада. Прямо по той давней, мне известной истории, когда бывшие муж и жена тайком от нового мужа ездили на курорт. Правда, наши встречи если для кого и обидны, то опять-таки лишь для меня, потому что... Ну ладно, ладно, не притворяйся: ты ведь счастлив, что хотя бы такие встречи возможны. Вот и такое бывает счастье! Интересно, и сегодня разговор у нас будет о том же? Что, что скажет Она, что я Ей отвечу?.. Зачем мне эти

свидания, можно и не спрашивать, а вот Ей? Зачем они Ей? Молодожены еще в шалаше, а я уже готовлю, проговариваю наш с Ней разговор, и хорошо, что Она его не слышит и не услышит. Потому что, когда вижу Ее, когда Она снова рядом, я делаюсь другим, ну и разговор, конечно, получается совсем не запланированный.

Обычно делаем вид, что встретились случайно. Вот и сегодня. Увидел, что Она направилась по тропинке вверх одна, и бросился, чтобы добежать первому. На площадке перед водопадом заметался, не зная, куда девать себя от волнения. Она случайно пришла, а я случайно тут оказался – вот моюсь, ну а что так стучит, кровь во мне или падающая вода, я сам не различаю. Взглянул на мертвую дверь в скале и подумал, что водопад там слышен – был слышен – девочке, мечтающей о том, как она выйдет и увидит вот эту радугу, стягивающую мир в какой-то праздничный подарок, вдохнет эти прохладные, чистые брызги. Каким счастьем это может быть, могло быть, было, совсем недавно было!..

Радуга, когда смотришь на мир из водопада, не одна, их десятки – прямо карусель радужная, разбрызганное солнце. Сквозь него вижу, как появилась на площадке Она, оглядывается, кого-то нетерпеливо ищет глазами. Выдала себя, выдала, что специально сюда приходит, что Ей необходимо это – увидеть меня. Я вырвался из-под водопада, окликнул.

Вся прямо-таки светится счастьем. При первой нашей встрече здесь я от неожиданности почти принял это на свой счет. Не сразу и сообразил что к чему. Теперь уже понимаю, и как мне ни горько, но все равно не могу не любоваться Ею (на Ней все та же голубая тряпка – его подарок). Господи, как сразу меняются, какими становятся глаза, смех, движения у женщины, когда все в ней (да, в Ней!) кричит, сообщает всему миру: люблю! люблю! И эгоизм бывает прекрасен. Надо только чуть-чуть быть философом. Возьми и убеди себя что повезло еще раз: последняя на Земле любовь, а ты – последний свидетель! Всего лишь свидетель, что ж, все теперь горькое на этой обгоревшей планете.

Да, не я, не сам я причина того, что с такой радостью смотрит на меня эта Женщина, не потому счастлива, что видит меня. А потому, что может рассказать, есть кому рассказать. Ей невмоготу, так хочется, так надо, прямо-таки детское нетерпение: рассказать, какое это счастье – так любить, как Она любит. И вообще – любовь. Извечная убежденность любящего, что ни у кого и никогда такого не было. Ну а я, я «старше», я «мудрый», я «добрый» (все эти похвалы мне были подарены) и я должен «понять». Ну а что мне в жизни так не

повезло, мне и всем тем миллиардам «моих женщин» («Твоих шлюх!»), которые, конечно же, понятия не имели, что значит любить,– что ж, не Ее тут вина!

– Ну, как твой Дельтаплан? Усыпила младенца? – спрашиваю весело. Что ж, примем все, как Ей видится: я – мудрый старец, они – счастливые дети.

– Да, спит. Смешной такой.

– Я и не подозревал, что в тебе прячется такая послушница.

– Не послушница – раба! Даже не понимала, какое это счастье – не иметь своей воли, во всем зависеть от чьего-то взгляда, интонации и мучительно и... даже не знаю, какое слово тут. Наверно, такой рабой своего ребенка бывает мать.

Все понятно и совсем не ново. Но как Она ухитряется видеть таким, каким стала его видеть, этого веселого солдафона?

– Не обижайся,– Ей надо говорить, говорить, для этого и прибегает,– и я все равно тебе благодарна, все равно!

Нет, сегодня уже смотрит по-другому. Вопросительно и с плохо скрываемой тревогой. Что-то замечает, видимо, опасное для них обоих. Не в разведку ли бегает? Но и не говорить о своем счастье – это выше Ее сил. На мой жалкий намек, что ведь и у нас было «что-то».

– Нет, это совсем, совсем не то! Ну как ты не поймешь? – Даже сердится, как ребенок, которого нарочно не хотят понять. И мне как тупице, которому понять и не дано:– Меня нет! Просто нет! Есть лишь мы!

Вот те и на! Прежде именно это и мучило: что Ее нет, что все это не Она. Теперь «нет» – уже счастье. Но, конечно, Она о другом. В том-то и дело, что я понимаю Ее и понимаю, что с Ней случилось, что происходит, а потому и не хочу согласиться окончательно, что это так, именно так.

– Мне ничего больше в мире не надо! Нет, я понимаю, и наши неродившиеся дети, и все, о чем ты мне всегда говорил, что для тебя так важно и вообще...– все это я понимаю. Но на самом деле у меня все это уже есть – вот что такое любить!

Закончила поучающе и прямо-таки с уморительной категоричностью. Любовь бывает разная и у всех по-разному, но ее неотъемлемый признак –именно категоричность. И самая категоричная – первая любовь. Неужто и этого утешения для меня не существует, что Она просто **снова** полюбила? Не впервые, а снова.

– Ну что в нем такого? Нет, не думай, что я ревную. Хочу понять. Он что, такой...?

Она весело, прямо-таки радостно махнула рукой и засмеялась.

– Нет-нет, постой...– Я что-то уловил и не хочу это терять.

– А разве это имеет какое-то значение? – И добавила:– Когда любишь.

– Чем все-таки он тебя околдовал?

– Не знаю. Мне кажется, я всегда любила его. Когда и не знала. Объявился, и я сразу признала.

– Ну, положим, не сразу.

– Да? Может быть,– не очень логично, но согласилась со мной.

Ей уже скучно со мной. Зашла за водопад и стаскивает с себя небесный свой костюм – решила искупаться. Отвернулась, и я ушел в сторону. И если подглядываю, то лишь по одной причине: мне показалось, и я все хочу убедиться – верно ли, что Она как-то округлилась в талии?..

И все вспоминаю, они просто в глазах у меня – два луча, которые увидел в ту электрическую ночь. Трепещущие, как мотылек, пытающийся сесть на пересечение проводов. Да, это из Нее вырвался ищущий луч, он мог упасть на кого угодно, мог и на меня, а затем, к Ней вернувшись, отраженной вспышкой Ее же и ослепить – любовью. Именно так это бывает: ослепляют не чьи-то достоинства, а собственная жажда любить, вдруг вырывающаяся из нас вот таким ищущим лучом. В человеке любовь созревает, как плод, вызревает – в этом я убежден. Может быть, я первый и последний это понял так окончательно. У некоторых единожды за целую жизнь, у других – несколько раз. Бывают и бесплодные. И кто подоспеет к этому моменту, примет луч на себя, пересечется с ним, тому плод и достанется. Подоспел Третий. А мог бы и кто другой. Вот это и обидно. Она убеждена в его «единственности», а я-то знаю, что нет у него тех преимуществ и прав передо мной, какие Она ему вручила.

Заспешила, засобиралась уходить, тонкое трико на Ней пятнистое от влаги, и чувствуется, как Ей хорошо, прохладно,– уносит себя такую туда, вниз, к нему.

– Он называет меня Мари-а! – вдруг вспомнила, засмеялась.

– Почему – Мария?

– Это тебе было безразлично, кто с тобой. Как ты меня еще не окрестил Матушкой Природой? А что, хорошее для женщины имя!

– Кстати, а тебе известно, что означает его фамилия Смит?

– А что означает?

– Этимологически очень простое: кузнец. Но если тебе это интересно – по-арабски оно означает Каин.

– Зачем ты? – Глянула враждебно, с вызовом.– Думаешь, я не вижу, не замечаю, как ты сверху следишь за нами?

– Неужто тебе, вам до того? Вот не думал.

– Я тебя прошу! О господи, как вас просить? Чем остановить?..

13

Боги припадали к Земле, как собаки, жались у стен. Иштар надрывалась от крика, как женщина в родовых муках; царица богов обливалась слезами и восклицала своим дивным голосом: «Да обратится в прах тот день, когда я в собрании богов накликала горе! Увы, это я накликала горе в собрании богов! Это я накликала смерть для уничтожения моих людей! Где они теперь – те, которых я призвала к жизни? Как рыбьей икрой кишит ими море».

»Сказание о Гильгамеше».

Какой гад, какой я гад – и это прекрасно! Увидеть неуверенность, тревогу, страх в глазах, тебя унизивших и предавших,– что ж, оказывается, и это счастье. Пусть темное, черное, но счастье. Кому что, каждому свое! Будто лодка после многих часов удушья вновь обрела ход: двигаться значит жить, не важно уже, куда двигаться. Лишь бы не висеть беспомощно.

Я теперь живу от встречи до встречи, и всякий раз после каждого свидания тревога в Ней делается все сильнее, укореняется, Она уже и дважды на дню готова прибежать к водопаду, чтобы только убедиться, точно убедиться, что я не задумал плохого, не затеваю ничего. А я этим пользуюсь, вырываю у Нее новые встречи-свидания. Наловчился терзать, мучить Ее их счастьем, сея тревогу и неуверенность, боязнь потерять.

Нет, внешне все, как и прежде.

– Привет!

– О, ты здесь?

– Другого острова на этой Земле не осталось. Ладно. Ну как, еще не разлюбила?

– Нет.

– И он – нет?

– И он – нет. Зачем ты так? Я хотела, чтобы ты понял и не обижался. Это сильнее меня. Мне даже дети перестали сниться. Я

хочу любви и ничего больше. А там пусть будет как будет! Ну нарожали бы еще одно племя таких же. Чем бы кончилось, если не тем же? Так пусть кончится один раз, но любовью. Если бы ты мог знать, что это такое, ты бы меня не упрекал.

– Где уж нам уж! – Господи, какая шелуха, нелепость все наши недавние обычные слова, фразы, все!

– Прости, но это – совсем, совсем другое! Не знаю, как сказать, объяснить.

– А то, что у нас было?

– Это было прекрасно! Я правду говорю. И я так благодарна. Но тут совсем, совсем другое!

– Хоть объясни нам, непосвященным.

– Даже не смогу. Ну вот: я хочу, больше всего на свете хочу ребеночка! Жить не могу без надежды, что он будет. Но я готова и не жить, а то, что во мне сейчас, не променяю...– Глянула умоляюще.– Можно? Я хочу тебя попросить.

– О чем?

– Ты следишь за каждым нашим шагом, я вижу. Помню об этом даже ночью.

– Можно без подробностей?

– Ну вот – какие у тебя сразу глаза стали! Прошу тебя, не делай ничего. Его-то я остановлю.

– А что я собираюсь делать? – удивился весело и фальшиво.

– Не знаю, но я все время жду чего-то.

Вдруг взглянула как-то даже заискивающе, жалко. Спросила, а лучше бы не спрашивала:

– Ты совсем разлюбил меня?

– Не я поменял шалаш.

– Знаешь, страшно, когда все-все – в чем-то одном. В ком-то одном. Потерял, отняли – и мир рухнул. Вы так легко жертвовали оттого, что не любили. Да, да, не любили.

– Что ж, дай бог тебе сохранить.

– Ты нехорошо это сказал.

– А было бы хорошо, если бы прямо на глазах у тебя – да вон туда, головой со скалы?

– Ты еще убедишься, что и я не такая и он совсем не такой, как ты думаешь. У нас совсем не те отношения, не заблуждайся!

О последнем Она оповестила с уморительной серьезностью.

– Вот чего уж не рассказывай, тем более бывшему любовнику!

– Ну конечно, у тебя одно на уме!

– А у него что – ни-ни? Он что?.. На самом деле?

Вгляделся в Нее и вдруг все понял. Вот тебе и Дельтаплан! С мужиками это случается: под боком всякие излучающие игрушки, а у него плюс еще близкий Космос. И вообще примеров немало – именно среди таких вот плечистых и мужественных на вид. Все это я не выговорил вслух, но, торжествующий гад, такой крик (пусть неслышный) издал, что Она даже вроде бы расслышала, вся съежилась, даже покраснела. Вот когда ко мне вернулась уверенность, я уже не говорю – громыхаю:

– Да вы что? Ладно он, но как ты можешь?

– А ты считал, что самка убежала к другому самцу? Это для вас невыносимее всего. Так вот успокойся!

– Наоборот, теперь-то и невозможно успокоиться. Она не слышит, Она о своем:

– Он ребенок, хотя с виду... Стесняется, будто мне это важно. Забрала бы в себя и носила, как кенгуренка!

– Я думал, он только меня вытеснил. А этот гад (вот кто истинно гад!), а он – и детей! Кенгуренок! Пристроился! Да вы оба враги человечества! И поступать с вами соответственно! А ты – ты просто Медея! Вот кто ты!

– Пусть, пусть Медея! Да только кому меня судить? Я тебе объяснила бы, если бы ты способен был услышать хоть одно слово. Я и сама этого не знала, не подозревала, как важно – выбрать самой и вообще выбрать. Мне этого не было оставлено. И вдруг!.. Наверно, то же самое, что родить. Все – твое, все – из тебя, и уже нет тебя без этого! Даже не понимаешь, как могла жить...

– Нет, я не могу опомниться! Думал: ну ладно, природе так угодно – испытать еще один шанс, еще вариант. Ей не до сантиментов, тем более теперь. А тут как раз наоборот. Не от меня ты сбежала. От природы-матери. Ни детей, ни матери тебе не жалко, а жалко Каина-импотента. Это – любовь?..

Это я прокричал вслед Ей, уже невидимой за скалами, такой несчастный и торжествующе-злой, каким никогда не был. Проводил Ее взглядом (когда сверху снова увидел Ее, почти бегущую вниз, к шалашу, к нему) уже совсем не тот человек, каким я был час, полчаса назад. Теперь на моей стороне не одна лишь обида и не личная правота, а историческая – да, как это ни громко звучит. О, это совсем особенное самочувствие, и оно снимает, отменяет многие запреты тем, что возлагает огромные обязательства. Самочувствие, больше позволяющее, чем воспрещающее. Зато отнимает право на жизнь бездумную, безответственную. На моих плечах будущее. Значит, и за Нее я в ответе, за Ее поступки. И вина будет не Ее, а моя, если я

позволю последней капельке живой жизни саму себя иссушить.

Теперь я знал твердо: пойду на все, имею право на все, но верну Ее, верну Земле материнство. (Какие-то громкие все слова, сами такие просятся!) Даже если кровь прольется, что ж, вчера арифметика была в делах таких всему на погибель, а тут, попробуйте тут с нею поспорить: пять литров бесплодной или океаны живой? Быть или не быть нам на Земле – ценой этих пяти? Неужто космическому евнуху оставить, отдать в руки ключи от самой жизни, загодя зная, что это всему и навсегда конец?

Ну-ну, порассуждайте, посентиментальничайте над пятью литрами, наплевав на океаны! Если я не сделаю всего, что мыслимо и немыслимо, допустимо и недопустимо, я окажусь соучастником убийства, какого еще не бывало.

Сижу на ночных скалах, там, внизу где-то, их счастливый шалашик – **пристанище самых страшных заговорщиков против жизни** , он еле заметен, прячется, жмется к земле, прижимается к морю. Я, видимо, очень похож сейчас на старого грифа, высматривающего добычу, ну и пусть, пусть я в их глазах таким и буду: отвратительный хищник! Важно, каким я покажусь из будущего, может быть, Прометеем, сберегшим огонь, почти богом?

Остров наш за последние недели прямо-таки пожелтел – столько теперь этих цветов. Будто и те, которые Она прежде видела, а теперь не замечает (пробегает по желтым тропинкам абсолютно безбоязненно), все теснятся вокруг одного меня, лезут мне на глаза. Я прямо слышу, как в сумраке они мягко ползут из расщелин.

Все, все пронаблюдал: предзакатное купанье «святого семейства», сидение и ужин у костра, сборы на ночь. Зайдя за шалаш (не от меня ли прячется?), начала стаскивать трико с себя, забросила на шалаш (вывесила ооновский флаг!). Но нет, они не собираются прятаться. Совсем обнаглели! Он приволок еще водорослей; вытащил и те, что в шалаше,– прямо на глазах у меня расстилает, разравнивает руками и коленями. Снял и «флаг», Ее костюм, бросил на постель.

Но я уже способен увидеть в этом во всем и какой-то вызов. Разыгрываемые для кого-то «сценки». (Для кого же? Кроме меня да еще Великого Драматурга, зрителей здесь нет!) Я ведь с Нею еще раз встречался, словно для того и прибегала на этот раз, чтобы «проговориться». О том, какой он, Третий, на самом деле и что мне просто захотелось неправильно Ее понять, а его в своих глазах унизить, чтобы заявить свои права если не на Нее, так на «будущее»... Разговор об этом начала не Она (и на том спасибо!), но Она вызывала на него, просто-таки провоцировала и откровенно обрадовалась

потом моим дурацким шуточкам на тему об утомленных глазах («Издали думал, очки черные завела») – засмеялась подтверждающе-цинично и жалко.

Прибегала, хотела обезоружить мою решимость, опередить мои планы «восстановления последней справедливости среди последних людей» (слова Ее, если не от него заимствованные, выспрашивающе-ироничные). Так им хотелось убедить меня, что все это элементарная мужская ревность к более счастливому (и, конечно, более достойному) сопернику, и тем самым побить мой главный козырь. Отнять уверенность в том, что правота моя не только личного порядка.

Но интересно, что о карточке астронавта я будто и не помнил (там ведь все было сказано, и почему надо думать, что не всерьез, а дурачась это написали?). Забыл, наверное, стыдясь, что все-таки обыскал «мундир врага»,– с памятью это бывает. Но главное не это и не то, что я им сказал или не сказал, а то, что сам знаю твердо.

А последние ночи светит, объявилась над нами Луна, Селена. Я видел, как Женщина плясала от радости, когда впервые пролился с неба нежный и ровный свет от внезапно выплывшего из глубины неба торжественного диска. И трижды обворованным себя чувствовал – не мне адресована Ее радость.

Но что же получается? Можно и так думать: моя к Ней любовь породила несуразные эти цветы, в них материализовалась, а их любовь – в этом трепетном и тревожном, будоражащем лунном свете?

Да нет же, нет! Хорошо известно, как умеет зло себя разукрасить. Нельзя поддаваться обману.

Так или иначе, но Селена теперь каждую ночь висит над нашим островом, серебрит и раскаляет водную гладь, площадки и скосы скал, блики ее – на зарослях моих несчастных уродцев цветов.

Чувство Луны всегда тревожно-радостное: есть кто-то еще, кто ее видит, смотрит на нее одновременно с тобой и тоже думает – не о тебе конкретно, но вроде бы и о тебе. Взойдет Луна, и сразу глохнут голоса ночи (сколько их было на непустой Земле!): **я здесь, а ты? нет, раньше ты отзовись!**

Кто знает, кто знает, может, и прав мой одессит со своими отсеками, а тогда логично будет предположить, что в каждом из отсеков налажен свой выход на опекуна в Космосе, раз мы его дети и жители (а это уж точно, вон сколько энергии из него зачерпнули и сколько в него выплеснули!). Значит, чей-то космический канал – Солнце, а чей-то Луна, Селена.

«Идеолог», может быть, и опоздал, не обзавелся космическими

опекунами. Уж он точно не телепат. Зато у трех реликтов, особенно у Свистать Всех Наверх, связь с Солнцем и Луной прямая. А иначе откуда берется та сверхсила, которую пробуждает страх гибели? Или взять любовь. Не случайно поэтам казалось, что Луна, особенно нарождающаяся, и лепится из вздохов-стонов влюбленных. Детей-то по ночам зачинали – как тут про Луну-Селену не подумать? Интересно бы заглянуть в старинные книги: какие из небесных тел покровительствовали беременным? Да, давно исчезнувшие хетты Луну так и называли: «беременная», Арма. (Были какие-то хетты, даже я откуда-то знаю. Кому только эти наши знания останутся?)

Но если «идеологу» не дано то, чем изначально обладают реликты, разве он смирится? Не такой у него характер. Что они, все эти наши космические аппараты, техника-растехника, как не ревнивое стремление разумника «идеолога» сравняться с реликтами – себя навязать Космосу, свое прямое присутствие?.. Добыть то, что другим от рождения дано, в метриках-метеоритах записано. Не случайно земная недобрая фантазия перенесла на Луну тени братьев по крови, одним из них пролитой.

Что она видит, что мне показывает, подсказывает, эта небесная сводня? Надо же было тебе, проклятой, светить именно сегодня!

Лунный свет утончает тела, сливает их в одно бесстыже-белое пятно – глаза мои слезятся от напряженного стремления все увидеть, разглядеть и от обжигающего стыда за это. Не замечаю, что я уже стою, поднялся на ноги, будто изготовился. Но в какой-то миг понял, всем своим ярко освещенным телом ощутил (жаром окатило!), что меня видят, на меня оттуда смотрят! Шепчутся, смеются. Тело мое спружинило, точно железную полосу, красную от жара, кто-то к спине приложил,– оно отпрянуло, и я уже лечу, падаю в бездну. Я не смог (не подумал, не до того было), не оттолкнулся достаточно сильно, чтобы благополучно миновать выступающие из скалы гранитные зубья: сейчас, сейчас полоснут акульей пастью! Потемнело в глазах – так обожгло бедро, бок, но это от удара о воду, и теперь, уже с облегчением, уношусь ко дну, хотя, может быть, на близкие скалы. А когда вернулось зрение, глаза ослепило зарево. Это что – кровь, все-таки кровь? Моя, чья же еще! Вдоль располосовало всего, но боли пока не ощущаю: такую боль тело уже не услышит! Невольно рука коснулась живота: цел ли?..

Рванулся изо всех сил, чтобы всплыть, пробуравил головой пылающую воду и увидел, что и вся гладь океана такая же огненная, кровавая. С Луной что-то произошло, когда я опрокинулся в воду и пока погружался, всплывал. Это уже не Селена нежная, серебристая,

нет, таким можно представить лишь Марс. И как четко стали видны тени-фигурки, словно выгравированные на боевом щите.

Как, однако, меня рвануло, прямо-таки сдернуло с этой скалы! Какой только силой так катапультировало? Самоубийца, негодяй! А еще к кому-то претензии. Какое ты имел право? Твоя жизнь, твое тело не тебе принадлежит. Не одному тебе. Уж лучше, если так невтерпеж было, хватал бы камни и швырял, как циклоп, со скалы в счастливого соперника!..

Я лежал на спине, океан меня покачивал и я отдыхал от пережитого страха, смертной тоски и недавней ярости. Луна, воспламененная, огромная, тоже покачивалась в ночном озерце неба зловещим поплавком. Миллиарды живых глаз когда-то смотрели на нее снизу, люда даже следы свои отпечатали на ее метеоритной пыли. Они и сейчас там, будут и тогда, когда на Земле видимых следов человека уже совсем не останется: ветра на Луне нет. При чем тут ветер? Ничто и никто так чисто не сотрет человеческие следы, как это умеем мы сами.

Постой! Ведь мы с этой скалы, вот за нее швырнули тогда наша пистолеты. Они и сейчас где-то на дне – там, куда я падал. Луна глубоко просвечивает воду, можно поискать. Я ведь именно этого и хочу, хотя, видит бог, совсем не думал о пистолетах. Но, может, потому и подумал сейчас о них, что как раз давно этого хочу. А почему бы и нет? Красиво! А ради «красиво» чего только женщина не простит. Даже нелюбимому. А любимому тем более. Так что у него два шанса выиграть против одного моего.

Значит – дуэль! Но для этого нужно отыскать пистолеты.

Я лежал на раскаленно-красной поверхности океана, смотрел на лунный человеческий лик, и жизнь в меня возвращалась окончательно. А с нею и все мысли, обиды, колебания последних недель и дней. Какая удачная мысль – пистолеты, дуэль! Вместо тупых и глупых воплей в пещерах твоей души вступает в игру что-то очень изящное и изысканное. Прямо-таки из оперы.

Отдохну и примусь за дело. А пока можно обдумать нравственные, юридические аспекты последней на Земле дуэли.

Если он то, что я узнал, значит, в данной ситуации представляет лишь самого себя, особь. Я же представляю род человеческий. Ну хотя бы возможность его в будущем. Я буду целиться в особь, в человека. Конечно, и это мерзость. Но всего лишь в человека. Он же – в род человеческий. Чем не Всекаин? А с другой стороны, это ведь я подставлю род человеческий, подставляя самого себя под пулю.

Вот тут и суди кого и как хочешь.

Ладно, кровь всегда была высшей ставкой, и в делах «благородных» тоже. Не его, а меня осудили бы все будущие поколения, проведи кто-нибудь там немыслимый референдум. Арбитр наш не они, будущие, а Она, Ее прощение или непрощающее презрение. Честная дуэль хотя бы исключает презрение и оставляет какую-то надежду.

Нет, слишком легко ответил на вопросы – не поставленные, а подставленные: игра в шашки с самим собой!

А ты вот на это ответь: всегда ли часть меньше целого? и всегда ли меньшим можно пожертвовать? Вот они там в своем летающем гробу спорили: собой, всем пожертвовать во имя человечества – такое допустимо, возможно? Не нажать, если другие уже нажали? не мстить всему живому на Земле только за то, что кто-то и где-то не сумел договориться? Кому ты мстить будешь – уцелевшим букашкам и последним осколкам человеческого рода? По принципу: ах, ты по левой щеке планету, ну так я лупану по правой!

Ну а тогда – кто ты и зачем лежал, подобно заряженному пистолету, в океане? **Зачем ты здесь?..** Чем, чем ты сейчас занят, чего мечешься, куда устремлен? Оружие-то вот оно, под рукой! К барьеру, сударь! Была пастораль, теперь – дуэль. И все – последнее...

Сколько лет человечество было заложником «идеолога». Как будто есть, бывают идеи равноценные, а тем более дороже самого рода человеческого? Ясное дело – нет, не бывает таких. И быть не может. Даже равноценных жизни отдельно взятого народа, а уж человечества и подавно. А если бы какая и посчитала, что она «стоит того», тем самым только доказала бы, что она такое.

Ну а вот ты: во имя чего и ради кого готов подставить под случайность, под выстрел все, что осталось на Земле и что на планете когда-нибудь еще может быть?

Смешно сказать – ради Женщины. А еще точнее: чтобы Она могла тебя уважать и не ненавидела бы, не презирала. Всего лишь чувства, даже не чувства, а оттенки чувств – и такая цена! Значит, мы так устроены? Какой это из книжных героев терзался вопросом: ну а на другой планете, за тридевять планет от Земли, стыд будет ли мучить, если на Земле ты оставил, сотворил великую подлость? А ведь будет мучить! Хотя и ты землян и они тебя – никогда друг друга не увидите. Ну а если бы вообще нуль остался, то есть никого? Стыд перед нулем возможен? Непонятное дело, но возможен ведь. Суд исчезнувших – все равно суд. «Мнение» даже несуществующих – небезразлично.

А тут не кого-то там, за тридевять планет, а Ее мнение! Все, все

понимаешь, тогда почему же поступаешь не по пониманию? Или заморочили тебя (и друг друга тоже) все они, разноголосо подающие команды из своих отсеков? Какую, чью выполняешь? Или чьи?

И куда они загнали главного алармиста? Совсем пропал голос моего СВН. Не «идеолога» ли это работка – из-за спин услужливых реликтов? Но ему-то зачем мудрить, он скорее приказал бы наплевать на всякие дуэльные условности, напирал бы на историческую правоту, и, пожалуйста, без этого рыцарского интеллигентничанья!

Ладно, вообразим лучше руку Великого Драматурга: к финалу поторапливает, и без того пьеска, его **последняя пастораль** , затянулась.

Нет, кто бы вы ни были и сколько бы вас ни вмешивалось, а дуэль – это по крайней мере красиво. К барьеру, сэр! Звучит! Пусть красота, коль уж так сложилось, рассудит нас. Спасет или погубит. Раз за этим стоит Женщина.

Посмотрим, какая у тебя улыбка под дулом пистолета! Это не лазером тыркать в чужие корабли да ядерные шахты за тысячи верст. Пятнадцать–двадцать шагов! Кажется, так в романах? И самое главное – уклоняться, отклоняться запрещено кодексом чести. А вся наша профессиональная доблесть как раз в том заключалась, кто раньше и внезапнее пульнет, ловчее отклонится, перехитрит.

Я без конца нырял в окрашенный красным Луной океан, шарил в огненно-светящейся воде по камням, меж камней, в трещинах. Искал, может быть, собственную погибель, но так, словно в этом, только в этом спасение.

Ну а Она поверит, что дуэль была честной?.. И интересно – будет себя казнить, если меня подстрелят и сшибут, как мелкую фишку? Или он улыбнется белозубо, по-юношески, как это у него получается, и... Не думать, не додумывать. Главное, не додумывать!

Утром вздремнул на прохладных скалах, даже не глянув, а что там у них внизу: спят, наверное, голубки в гнездышке. Что ж, каждому свое. Когда История на твоей стороне и знаешь, что работаешь на нее, все, даже нервы, в порядке.

Снова открыл глаза, а милые уже в море, уже резвятся в воде, что ж, нырнем и мы. Я даже сделал им ручкой. Нырял, нырял, а когда взобрался на скалу, увидел, что они письма пишут на нашем пляже. Что-то он чертит пальцем, отбегая в сторонку, а Она набегает, опрокидывает его на песок и ногой затирает его письмена, он мешает, а Она тянется затереть... Все, все забрали себе, все мое, все наше!

Старался больше не смотреть в ту сторону, а когда не выдержал, посмотрел – нет их, ушли, должно быть, к водопаду.

Само дело, работа захватили, какой-то уже спортивный появился азарт: нырнуть поглубже, удержаться подольше у самого дна. Странно, ни одной рыбешки или краба не вижу, пустое море, даже тоскливо. Просто я о них не думал, а теперь подумал – и сразу вот они, объявились. И как раз передо мной, как на экране, зависают большие рыбины глаза в глаза. Но если так, тогда пистолеты должны бы давно объявиться: только и думаю о них. Сколько раз, казалось, видел, жадно хватал рукой камень, клочок мха, водорослей. Забираюсь все глубже и глубже, очень болят уши, глаза.

А нашел на мелком месте, где и не ожидал: стал на дно передохнуть и нащупал ногой один – будто током ударило! Оказывается, мы швырнули пистолеты недалеко, совсем близко отбросили от себя. И второй где-то здесь, та самая «курительная трубка», но пока радуюсь найденному. Нет, удобная и надежная штучка. Вот так прицелиться... А действительно забавно получается: старая рухлядь, ещё двадцатых, наверное, годов, а убойная сила равна всем ядерным бомбам конца века: выстрел – и человечества как не бывало!

Это если он уложит меня. Ну а если я его, то наоборот – путь в будущее расчищен!

Сколько ни нырял еще и еще, второй пистолет как испарился. Или второй и не нужен – по пьеске Великого Драматурга? Так даже больше испытания нашим качествам. Берем в руку по очереди: если не попал, надо подавить соблазн, великий соблазн выстрелить еще разок. Ты же не знаешь наверняка, как поступит противник, передаст ли тебе оружие. Не те времена, чтобы наверняка знать. Ну а Великий Драматург, он заранее все знает? Тогда это ему неинтересно. И какой же он творец? Если **творит** , значит, открывает ему самому неведомое. Элементарное условие.

Это про него: «Коварен, но не злонамерен»? А уж что ироничен, так это точно. Сколько было за историю сюжетов самых ироничных: словно Великий Драматург специально задавался целью разыграть этих умников землян как можно грубее. Наказывал за самомнение. А возможно, и мстя ревниво. За что все-таки и к чему нас можно ревновать? К разуму, полученному не по чину?

Вот и еще сюжет. Вроде бы все в нем просто, ясно, ничего издевательского: Она любит его, а он любит Ее! Ничего, если не учитывать, что случай-то, «сюжет» – последний, а тот, кого Она выбрала (Великий Драматург демократичен, всегда оставлял нам выбор!), кого предпочла из двоих последних, из двоих возможных,– импотент.

Обессиленный нырянием, а еще больше мыслями, лежал я на теплых камнях, правая рука касалась металла, напитанного донным холодом, мозг тоже казался тяжелым металлом, но расплавленным.

Вот как все повернулось, кто мог ожидать? Природа давила на Нее с вывертом, однако нормально: дети! дети! Но вот кто-то надавил и на природу, волевым, так сказать, решением заставил отступить.

Все в руце Великого Драматурга – и сцена, и актеры, и режиссура. Какая, однако, недобрая ирония под занавес: Медея, вообразившая себя Христовой невестой!

Что ж, если мне тоже оставлен выбор, я знаю, что делать, что я сделаю. Но до чего же они, женщины, действительно не такие, как мы! Вроде бы все определено природой, и на века: род, продолжение рода должно быть и всегда было для женщины на первом месте. Сама любовь, может быть, только радуга, на которой извечно раскачивается детская люлька. И вот пожалуйста – Медея! Вот уж кто Всемедея!

А что, если Великий Драматург все-таки более наивен, чем коварен? Великий художник и коварство – совместимо ли это? Великий физик, каким представлял его Эйнштейн, да, но – художник?.. Но что, если это всерьез, если все, все, что было, вся история – лишь удобрение, навоз ради того, чтобы вырастить цветок по имени Любовь и больше ничего? Для того лишь, чтоб сентиментальный Великий Драматург мог полюбоваться им, понюхать и погасить свет? И отвернуться к другим мирам, к другому времени?

А зачем тогда я ему в этой-то ситуации? Какая роль мне отводится? **Опасен и вооружен** – такая, что ли? Совсем недавно весь род человеческий был **опасен и вооружен** ! Опасен для всего, что дышит, движется, плодится. Значит, оружие все-таки выстрелит, раз снова появилось на сцене. Как, в кого – об этом будет знать из нас двоих лишь один.

Тут я почувствовал, что на меня смотрят. Человеческий взгляд почувствуешь всегда. Тем более на таком пустынном острове. И тем более такой напряженный. Да, это он стоит и смотрит, Ее избранник. Действительно Дельтаплан – на равнобедренном, углом вниз (талия), треугольнике лежит маленькая для таких плеч головка. («Мальчик-слезь-со-стойки!» – был у нас лейтенант с такой кличкой, правда узкоплечий, длинный, как глиста, но с такой же ребячьей головкой, слышали или придумала братва наша, будто крикнула ему так барменша.) Но прежде и тебе это не казалось уродством – ни на староегипетских изображениях, ни когда только появился Третий на острове и тебе припомнились те самые египтяне. Ей тогда не

нравилось все в нем, а ты даже любовался. Теперь все наоборот.

Но ведь смешно (умереть можно!), когда знаешь про этого красавца то, что знаю я!..

Стоит молча, ладонью оперся как раз на то место, куда мы когда-то, дурачась, стреляли. Смотрит на мою руку, покоящуюся на пистолете. Да, да, тебе не примерещилось – пистолет! Глазами я показал и на обойму, которую отложил на более нагретое солнцем место.

– Сушу, а то, может, отсырели патроны.

Только после этого я медленно приподнялся и сел.

– Могли и отсыреть,– согласился Третий.

Растерян: не с этими мыслями спешил ко мне, это заметно. Ну-ну, говори!

– Мари-а беременна. Кажется.

Теперь уже интересно было бы на свое лицо посмотреть: к этому известию я был готов менее всего. А потому спросил по-глупому:

– Кто вам сказал?

– Все признаки.

– Представляю, как она рада!

- Очень! Хотя, если честно, не поймешь. Вы же Ее знаете. Никогда не угадаешь.

– Пришли звать в крестные отцы?

– Поделиться новостью. Как-никак.

Да нет, его ослепительная улыбка не детская, а дебильная, это точно!

– Что ж, при нашем дефиците на кадры можно и родного отца в крестные. Надеюсь, вы догадываетесь, что ребенок мой?

– Уверенность – уже полдела! – Он улыбается.

– Для вас это новость? Да что тут: Она мне все сказала.

Оружие вот оно – к барьеру, господа!

Он уже не улыбается. Но молчит. Поэтому продолжаю я:

– Океан все-таки защищает от радиации получше, чем открытый Космос.

– Она **это! тебе!** (впервые на «ты» заговорил) сказала?

– Ты же знаешь Ее,– я вернул ему «ты»,– скажет, не утаит, даже во вред себе.

– Да, все верно. Как и то верно, что вы будто специально посадили меня прямо на реактор. В этом летающем гробу.

– Я никого не сажал.

– Все равно – вы, белые. Ненавижу! Вам и это надо было отнять у нас. Всегда, давно ревновали. И были основания, ха, были!

– Были, да сплыли.

– Больше всего боялись догадаться, вспомнить, что первыми были вовсе не вы. Вам бы все должников-банкротов делать. Свои бы почаще вспоминали долги.

– Вы про какие там первые-непервые?

– А вы спросите у своих ученых: где объявился первый человек? И кто? в Африке. Черные – вот так. Женщина это всегда чувствовала. А вас бесило.

Это мы умеем лучше всего: всегда и во всем усматривать свою правоту.

И потому что – американец.

И что – **черный американец** . (А был бы белый, именно это зачел бы в свою пользу.) Вот и за африканскую радиацию-мутацию счет предъявил. От которой – ученых под конец осенило! – был, пошел первочеловек. Гомо прямоходящий, гомо умелый и прочее...

Вот и это знание нам пригодилось. Кому только оно останется – все наследство человека **разумного** ?

– Я и говорю... – Он как-то по-другому покосился на пистолет, взглядом заинтересованным и примеривающимся.– Долго пришлось нырять?

– Времени свободного у меня много. Искал и второй, может быть, еще найдется.

– Да, два удобнее. Если вы подумали про дуэль.

Слово «дуэль» предполагает «вы» – так-то действительно лучше. Но хорошо, что слово «дуэль» произнес не я. И все-таки ему не пришло на ум, что хочу его подстрелить по-гангстерски. И на том спасибо!

– Сколько осталось патронов?

– Шесть.

– Что ж, можно и одним обойтись,– то ли про пистолет, то ли про патрон.– Так говорите, младенец ваш? Только вот Мари-а – моя.

А я, нет, не я, а кто-то во мне весело продолжил его слова: «...сказал плотник Иосиф Богу-Духу и... потянулся к пистолету»,– я чуть не захохотал нервно, дико, когда увидел, что Третий как раз это и проделал: протянул руку небрежно, подчеркнуто неторопливо, как бы испытывая меня.

Я не пошевелился. А он заглянул в дуло, громко дунул, взял патроны и загнал обойму в рукоятку. Щелчок прозвучал угрожающе.

– Вот только Мари-а...

Меня охватила странная апатия. Я не пошевелился бы, когда б он действительно направил на меня пистолет: никакого желания помешать ходу событий, куда бы они ни повернули. Меня Она не

простила бы. А его? Не Она, любовь простит. Как бы он ни поступил. Те более что версию сочинит уцелевший. Сочинит, конечно, не во вред себе.

– Диво, право, диво! – Он так любовно взвешивает вновь обретенный пистолет.– Выстрел – и полчеловечества как не бывало. Такого сверхоружия и у наших генералов не имелось. Я, само собой разумеется, не в счет, я-то неперспективный, а вы у нас – гарант будущего. Вы и есть полчеловечества существующего и будущего. Но наш опыт другому учил: будущее за тем, у кого в руках вот такая штучка.

– От нее детей не бывает.

– Ха-ха-ха! Нет, вы мне нравитесь. Всегда любил смелых парней. И остроумных. Остроумных особенно.

Как из него, однако, попер американец: улыбочка из фильма про этаких парней из-за океана, которые всех могут купить, всех поставить на место. А радикальные его фразочки и хохот в адрес собственного начальства, порядков – тоже американское выпендривание: вот мы как можем, вот мы какие! Президент у меня в кармане! Если даже там ни цента! Не в том, что кто-то белый, а кто-то цветной, дело, а в этой американской развязности, всем указке, тайном и явном чувстве превосходства над всем миром!..

Помолчал, а потом спросил как бы о мелочи малозначащей:

– Вы на самом деле уверены?.. Ну, насчет ребенка...

– Важнее другое: что уверены в этом вы сами. И действительно, не о ребенке, а о **детях** разговор. Да, да, о будущем, как вы изволите иронизировать. Арифметика тут элементарная, вас с Марией – лишь двое. И – обрыв нити. Мы с Нею – бесконечны

– Ну, голова закружится! На вашем месте я посчитал бы и честную дуэль преступлением перед человечеством. Посадил бы себя вон туда, на скалу, а других заставил петь гимны моему прогрессивному фаллосу.

Подбросил пистолет на руке, тяжелый, заряженный, и глаза его тоже что-то взвешивали. По-ковбойски повертел пистолет и положил на камень.

– Поскольку победа всегда за прогрессом, для вас поединок не опасен. Всего лишь небольшая подзарядка для нервов. Но Мари-а все-таки моя, а свое я никогда без борьбы не уступал.

Он подхватил с земли камешек, занес руки за спину, снова их вытянул перед собой.

– Стреляет, в которой камешек.

Я все-таки не выдержал и спросил:

– Вы действительно их не видите?– Показал на бурно разросшиеся, прущие изо всех расщелин желтые цветы.

Он презрительно усмехнулся:

– А вы все про это? И она их не видит. Сама сказала почему.

– Почему же?

– Ее тошнило с вами. Уж извините за прямоту. И будет всегда тошнить. Такой прогресс вас устроит?

– Эта! – Я мазнул пальцами по его правой руке.

Он не разжимает.

– Да, мы не условились, где кто стоит.

– Отсюда туда,– я показал на край обрыва,– легче будет объяснить случайным падением.

Он раскрыл ладонь – пустую.

– Извините, сэр! – Он снова взял оружие, повертел.– Извините, но я стреляю хорошо.

Ну вот и все! Поздно теперь жалеть-прикидывать, имел или не имел права подставляться. Так глупо подставить все, все под пулю этого самодовольного американца! Не имел, конечно, права, не имеешь. Но ведь по-другому тоже не мог. Значит, мы такие? Если Великий Драматург хотел еще раз в этом убедиться, искал лишнее подтверждение – вот оно! Одним аргументом больше, одним меньше – какая разница! Что уж было так стараться закручивать сюжет?

Со скалы, куда я взобрался, чтобы американцу лучше было целиться, легче сшибить меня наповал, хорошо вижу одинокую фигурку на берегу. Все в том же голубом. Значит, и Она меня видит, может видеть. Как смешно (теперь это вспоминать смешно)! Она вывешивала словно бы ооновский флаг на шалаше – не помог. Ничто уже нам таким не могло помочь. А другими стать, научиться быть – времени не хватило. На все хватало, хватило и времени и ума: на небо взобраться, обползать дно океанов, в материю ввинтиться до самого сердечника. А вот на себя оглянуться, собой всерьез заняться, привести к общему знаменателю знание о внешнем мире и о внутреннем (человеческом), и даже не в знании дело, а в готовности, в настоящем желании быть такими, а не этакими – это все на дальше откладывали. И дооткладывались!

Когда-то радиация (да-да, африканская!) нас на человеческие ноги поставила, она же подобрала футляр под стать прекрасному мозгу, а какие пальцы!.. И все ради чего? Чтобы смогли докопаться, добраться до истока, вытащить «послед», зарытый матушкой природой поглубже? Чтобы под конец собственным истоком отравились?..

О чем Она думает сейчас, видя, что я торчу на этой скале? Привыкла меня здесь видеть, соглядатая. О нем, конечно, думает, беспокоится, никак не может понять, куда он девался, если я вот здесь стою один. Не знает, что он снизу целится в меня. Стойка действительно профессионала-спортсмена, такие не промахиваются.

Как бы почувствовав что-то, быстро-быстро направилась в нашу сторону. Идет сюда, уже бежит! Волосы мешают. Она их, как ребенка, обхватила и на бегу держит перед собой.

Я хочу крикнуть человеку, который в меня целится: **Она ищет нас! Нас, нас ищут!**

Но почему-то не могу. Мне **стыдно** , боюсь, что голос выдаст страх. Вот так уже было однажды: тонул в озере (судорогой свело, сковало обе ноги), а позвать людей стыдился, боялся услышать **свой испуганный голос** . Люди в лодке сами что-то заподозрили, увидели по моему лицу, что дела плохи, и подплыли...

Я его не услышал, свой голос, а услышал откуда-то: «Поздно!» А может, это во мне?

Да нет же, нет! Почему поздно? Вот и Она – бежит сюда и тоже что-то кричит, умоляюще вскинула руки, отпустив на волю волосы, они разметались по ветру. Но ни Ее голоса, ни моего, а снова безжалостное, неотменимое: «Я взвесил на весах, последний раз вас взвесил!..»

14

Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды, и знайте, что есть суд.

Книга Иова, 19, 29.

– Приготовиться! Повторяю: приготовиться к последнему удару! Все аппараты возмездия – к бою!.. Кто, кто снова болтает? Опять этот Смит?

– Первые были черные, разве вы не знали?.. И последние тоже, все теперь черные, ха-ха, справедливо, главное, не забудьте чужие долги, головешки тупоголовые...

– Я же предупреждал, док, еще порцию сна ему. Всем приготовиться! Залп из всех! Блестяще! Получите там!.. Вас благодарит президент. Впрочем, наплевать. Док, переключите на самообслуживание: каждому газ по собственному выбору, на любой вкус. Счастливых снов со спокойной совестью!..

– Набраны третья... четвертая... Как оставшиеся? Пробуйте, пробуйте!.. Регенератор воздуха включился?.. Кажется, стало легче. Так.., манипулятор... Доступ окислителю открыт, теперь двигатели... Один, только один глоток воздуха над раскачивающимся океаном – и умереть...

Широкий экран «наружного» телевизора, на котором тяжело ворочалось нечто смолисто-огненное – вода не вода, нефть не нефть,– внезапно ярко вспыхнул: показалось и тотчас унеслось ввысь толстое тело ракеты, отплевываясь огнем, еще одно и еще.

Атомоход вдавило в толщу океана, освободившийся от полтысячи тонн корпус его стал заваливаться на нос: некому было принять в кормовую систему столько же тонн воды. Грозная океанская толща, глубоко потревоженная непонятно откуда доходящим светом, сначала все расступалась перед скользящей ко дну массой металла, но вдруг как бы спохватилась: невидимые челюсти медленно сжались на стальных боках подлодки, и они протяжно и жалобно заскрежетали. Последняя, задыхающаяся живая плоть не отпускала от себя затуманенное сознание – лучик его, все еще чудо из чудес, безопасно пронизывал и каменную толщу воды, и полную тьму, поглотившую лицо женщины на теперь уже невидимом подволоке центрального поста.

15

> *Не давай же воли своей руке, дабы не все люди погибли; пощади, дабы не все они исчезли с лица земли. Вместо потопа пусть бы лучше пришел лев и сократил род людской! Вместо потопа пусть бы лучше пришел голод и опустошил землю! Вместо потопа пусть бы лучше пришла богиня-чума и поразила человечество!*
>
> **»Сказание о Гильгамеше».**

Я увидел человека. Высоко поднимая голову над цветами (точно тонущий, захлебывающийся пловец), он добирается, гребется, ползет снизу ко мне – на скалы.

А что же было со мной, с нами вот здесь недавно: пистолет лежит на камне и чуть в сторонке сушится обойма?.. Значит, не было,

не произошло – какое счастье! Как могло такое примерещиться, присниться, привидеться? И как все логично происходило, все разговоры... Но кто и с чем бежит, ползет сюда? Он не ползет, он тащит свое тело, черты лица искажены как от боли, и нога неестественно волочится, вывернута. На лице кровь.

Я бросился навстречу, сам рискуя разбиться.

– Что, что с Нею? Говори! Говори!

Рот его разодран в крике, но до меня доносится лишь хрип. Наконец разобрал:

– Она... купаться...

Снова хрип, бульканье в горле.

– Что? Что? Говори же!

– Там радиация... бешеная...

Залп – так он был? Не все сон, что-то все-таки было, произошло? «Первая... Вторая... Пошли...»! Дуэль – была?..

Я не дослушал и побежал вниз, где рыжим пятном темнеет шалаш. Там никого не видно, но это там, там! Не я о скалы, о камни – они бьются о меня, бросаются на меня. На миг, зайдясь от боли в разбитом колене, присел и увидел странное, движущееся со стороны моря копье, летящее не острием вперед, а боком. Сразу и легко понял, что это птицы, но выстроившиеся в вертикальный строй строго одна над другой. **И также сразу понял, что птицы, ощущая лишь ими улавливаемый ветер радиации, отыскивают между смертельными потоками щель, пытаются сквозь нее протиснуться, выбраться** .

Я скатывался вниз, к морю, так, точно боялся добежать туда живым. Спасали и, может быть, спасли меня только пружинящие маты из цветов, проклятых, ненавистных. Упруго принимали на себя мое изодранное, избитое тело, обласкивая спасительным холодком. Как бы прося прощения за все – за что за все?..

А вот и пляж, берег моря, где столько следов было прежде: наших с Нею, потом его и Ее,– теперь здесь одна лишь засохшая пена. Любила, усевшись на песке, рисовать пальцем маленькие следочки...

А рядом дышит океан, невинно прежний. И тут я увидел, что не так это, что наоборот – все изменилось и стремительно продолжает меняться. Я вдруг услышал – но это тотчас пропало, оставшись в сознании,– грозный, нарастающий в глубине черного пространства какой-то каменный рев. Не колодец, накрытый голубой крышкой неба, наш остров, как всегда нам представлялось: на глазах у меня черные стены стали отваливаться назад – это уже широкая воронка, образуемая стремительным вращением. Небо, я это просто вижу,

расширяется, зато пятка воронки – остров и полоска моря вокруг,– наоборот, сужается, и тоже буквально на глазах. А может, всегда бешено вращались стены покрывшего всю Землю радиоактивного мрака, мы только не замечали этого, беззаботно прилепившись, живя на дне гибельного смерча, в его мертвой, неподвижной точке?..

Где, где же Она? Успеть увидеть, понять, что с Ней, с нами! Я устремился к шалашику, глаза привычно поискали подаренный астронавтом костюм. Он всегда тут мирно голубел. Ничего, никого, нигде! Заглянул в чужой сумрак шалаша, даже тронул рукой водоросли, постель. Ушла к водопаду? Куда Она могла уйти?..

И тут я увидел Старуху. Откуда она, кто это? Сидит, вытянув ноги, на песке, прислонясь к задней стенке шалаша, будто прячется здесь. Почему смерть рисуют в виде старухи – вот такой? А почему не мужик-дебил, не верзила в мундире? Но именно о Старухе-смерти мысль у меня сейчас.

Все не могу понять, кто она и как здесь оказалась. А может, давно, всегда здесь сидела, за шалашиком, да никто не замечал? Я сюда и вообще не спускался последние дни. Залитые слезой, потухшие глаза, запавший, без зубов рот, шея и лоб в фиолетовых пятнах, какие-то клочья вместо волос на светящемся черепе – и это существо когда-то было женщиной? И вся она в гнилостных пятнах, о господи, даже не прикрыта ничем. Вот какую наготу надо прятать. Сморщенная кожа по-животному подергивается то в одном, то в другом месте – эти пятна болезненны. Сама же Старуха сидит бесчувственно-неподвижно, на голове и коленях, на плечах, руках какие-то водоросли, точно кто-то хотел, старался все-таки прикрыть этот ужас распада. О господи, да это же волосы! Теперь я разглядел, вижу – **роскошные, длинные, Ее волосы!** Что, что эта отвратительная Старуха сделала с Нею, куда девала, запрятала? Такими, что ли, от долгих трудов становятся те самые Парки, богини жизни? Сожранная радиацией Парка, сослепу утерявшая и непослушными пальцами отыскивающая живую нить...

Прошелестел как бы даже не голос:

– Вода плохая, нехорошая, ты говорил...

Я сажусь рядышком, нет, я не признал и никогда не признаю в этом ужасе распада ту, которую разыскивал, к которой бежал. Никогда не соглашусь, что это правда. Сижу рядом с незнакомым мне существом, смотрю на сухие пальцы, перебирающие у больных, старушечьих ног роскошные, пересыпанные песком, но все еще с живым блеском волосы, и обливаюсь слезами. Я плачу навзрыд, как только однажды плакал в детстве, когда проснулся в вечерней, на

закате солнца, избе и мне показалось, что все меня покинули, что **мама не вернется никогда** . Почему не вернется никогда – я не знал, но помню, был ужас от уверенности, что это именно так.

Мне почему-то надо, чтобы Старуха обратила внимание, что я плачу. Но она так и не взглянула ни разу на меня. Даже когда прошелестели ее повинные слова. Мои пальцы касаются ее руки, мы вместе перебираем, трогаем, гладим волосы, веером рассыпавшиеся на песке, они и на плечах, на груди у нее, слипшиеся, я осторожно пытаюсь их забрать, снять, **отнять** , боясь лишь, что ей больно,– о, эти сочащиеся липкие фиолетовые пятна! Боль проходит по лицу Старухи бессмысленной гримасой. Но другая боль, в залитых слезами глазах,– такая глубокая, такая острая, она-то, наверное, и перебивает, заглушает всякую другую.

Мы уже в четыре руки сгребаем, выбираем из песка волосы, недавно такие прекрасные, живые. Расчесываю их, как в деревне льняные нити расчесывали, пальцами как гребнем. Уже две Парки заняты тем, что ищут, ищут потерявшиеся в песке кончики нитей, руки наши осторожно встречаются, и для меня так важно в эти мгновения сделать вид, что ничем наши руки, мои и Старухи, не отличаются друг от друга.

Наконец глаза Старухи, в которых засветилось что-то знакомое, **что-то Ее** , уперлись в меня, они спрашивают робко, виновато: **правда? то, что со мной случилось, это правда?**

И я начинаю, о господи, начинаю говорить, произношу, выговариваю наши с Нею, недавние наши слова:

– Солнышко!.. Ты мое солнышко!.. Любовь моя, любимая моя, солнышко...

Робким касанием влюбленного пытаюсь стереть гнилостно-фиолетовое пятно возле исхудавшего Ее локтя – он болезненно дернулся. И на мне вся кожа, даже на голове, передернулась.

Я все вышептываю, все зову, кличу, призываю наши слова, теперь я вижу Ее глаза – **Ее, Ее!** – я их отыскал, высмотрел на дне залитых слезой старушечьих глаз, я уже Ей, Ей шепчу наши слова, а себе кричу слова совсем другие и по-другому, и один и другой голос, шепот и крик не мешают один другому, не заглушают друг друга.

– У нас будет ребенок,– произносят губы, которых уже нет, жалко улыбнулась, потому что и улыбаться больно. Привычным жестом (Ее жестом!) тронула грудь, то, что осталось от женской груди,– растопыренные дрожащие пальцы поискали чашу и не нашли...

О бирит проклятый, ну что, насытился наконец? Своей правотой перед всеми насытился? По горло, узкое свое горло! Так и не стал тем, кем мог стать. Огромное брюхо и узкое горло всегда тебе мешали. До последнего держался за свой кусок. Даже когда кусок стал радиоактивный и ты уже знал об этом. Нетерпимость и жадность, стремление быть всегда и перед всеми правым, быть надо всем и всеми – вот ты истинный! А над собой подняться – этому так и не научился. Каких гениев природа и судьба навстречу тебе высылали, каких проводников, какие Слова, Книги, Голоса, какие Светильники ты держал в руках – и все не впрок. Ничего не помогло, кончилось вон чем. Так почему же, почему, какое проклятие над нами висело? Или действительно – Каинова печать? Не потому ли любой Светильник, любое Слово, как только попадали в такие руки, обращались в оружие? В орудие собственной правоты, мучительства, казней, убийств? Как у того жадного царя греков все обращалось в золото, нелепо-ненужное, удушливое, уморившее его.

Я помню чудное мгновенье, остановись, мгновенье, ты прекрасно... Какие Голоса звучали в душе твоей, отзвучали, но не повели за собой, не увели от бездны.

Что, что помешало остановиться? Отступить, спасти себя, спасти других. Что заглушало все Голоса, гасило все Светильники?

Разве что у камня спросить? Не у кого больше. А впрочем, почему бы и не у камня? Разве не были для нас и камни, горы красотой? Остановись, мгновенье!.. Звезды, закат, былинка, скала над морем – нашими, нашими глазами увидели себя: господи, хорошо-то как! Впервые и, может быть, в последний раз материя протерла глаза, Вселенная посмотрела на себя со стороны...

Все и во всем всегда перед всеми правы! – если не это, то что тогда погубило?

Но за что в ответе мы, почему-то оставшиеся, для чего-то оставленные? С такой изучающей жестокостью оставленные на дне, на стремительно сужающейся пятке ядерного смерча. Вот-вот поглотит и нас, скорее бы, скорее – туда, где все и всё!

– Солнышко! – шепчу вспоминающим былой восторг и ласку голосом.– Солнышко мое! Весна моя! У нас все еще будет. Все, все хорошо. Это пройдет, это все пройдет. Все нам только кажется. Вернется, все вернется... Мы не такие уж плохие...

– Мамочка, мне холодно! Мамочка моя, холодно!

Я вижу, Ее начал бить озноб. Мелкий-мелкий, не отпускающий. Раньше, прежде я мог обхватить руками, сжать в послушный комок, прижать, забрать в себя внезапно пронизавший Ее холод, погасить

дрожь теплом, лаской.

Теперь же я беспомощно смотрю, как Ее и без того пятнистое тело густо покрывается зябкими пупырышками, вскакиваю и начинаю что-то искать, хочу найти – ага, костюм, где он, проклятый? Когда надо, его нет! (Это и про самого Третьего.) Я обежал шалаш. Всегда он висел тут, сушился. На колени упал, на песок, ворошу Переворачиваю постель-водоросли. С пустыми руками снова бегу к Ней и вижу, что Ей совсем плохо, озноб уже трясет Ее всю.

– Ты его там бросила? Когда купалась?

Я готов бежать вдоль берега как угодно далеко, чтобы делать что-то, а не смотреть вот так беспомощно. Какой это святой согревал прокаженных своим телом? Но у прокаженных так вот болит каждая ворсинка на теле?..

А на меня смотрят непонимающе: почему я не рядом, а где-то, когда Ей плохо, так плохо?

– Мамочка! – Нет, глаза не узнающие, не меня они сейчас видят.– Мне холодно, холодно же, мамочка!

Обида, слезы капризно-детские в голосе.

И снова я увидел птиц, черная полоска их возвращается все таким же вертикально летящим копьем. А навстречу птицам на наш берег, к острову со стороны черно вздувшегося океана все стремительнее надвигается, охватывает, сжимает оставшееся и все уменьшающееся пространство испещренная змеями-молниями стена мрака – ее догоняет идущий откуда-то из самой глубины грозный, нарастающий, неправдоподобный гром, каменный рев, будто там перемалывают горы...

Каждая трубка-косточка в моем теле отозвалась жалобным звуком-эхом, руки, ноги органно-протяжно загудели, загудели, И вдруг все тело взвыло пронзительной сиреной ужаса, заглушая рев крошащихся гор. Я упал возле Нее, но все пытаюсь Ее глаза задержать на себе, увести от сжимающегося ядерного смерча, чтобы Она не видела ничего, а только мои слова слышала:

– Это только кажется... милая, любимая, все вернется, все, все...

16

E = mc2.
Альберт Эйнштейн.

...Три лучика: и сорвавшийся с наддымного неба, и вынырнувший из-под толщи вспученного черного океана, и выскользнувший из-за

ржавой бункерной двери,– с немыслимой случайной точностью пересеклись, встретились. И на миллиардную долю секунды обозначился на этом перекрестке безнадежности узелок света, экранчик тройной, утроенной памяти. Земной, последней. Лучики потрепетала, помедлили в бесконечном холоде Вселенной, держась сколько смогли, как мотыльки, друг за дружку. И распались. Но Вселенная все же успела услышать что-то такое, по чему будет тосковать, сама не сознавая...

Исчезли последние свидетели собственной трагедии, и она тотчас перестала быть трагедией и стала рутинным физическим процессом превращения, энтропического падения энергии в ничтожно малом уголке Вселенной.

Свет погас, опустели и сцена и зрительный зал. Но никому не слышный, никем не произносимый голос, как эхо о стены, как залетевшая в помещение испуганная птица, бился о прошлое, о будущее: «Солнышко... любимая... весна моя... все будет хорошо, все, все будет!..»

1982–1986.